**НАЧАЛО ИЗУЧЕНИЯ АНТИЧНОСТИ В РОССИИ (XVIII ВЕК)**

|  |
| --- |
| 1. Новые исторические и культурные условия (петровские преобразования и приобщение России к европейскому классицизму) 2. Основание Академии наук и начало специальных занятий античностью (Г.З.Байер и его последователи) 3. Антиковедные занятия в Петербургской Академии наук и Московском университете во 2-й половине ХVIII в. 4. Переводы екатерининского времени |

1. Новые исторические и культурные условия (петровские преобразования и приобщение России к европейскому классицизму)

**[46]** Преобразования конца XVII - начала XVIII в. затронули самые разнообразные области общественной и государственной жизни: законодательство и управление, финансы и военное дело, дипломатия, образование и просвещение - все подверглось решительной перестройке и во всем ощущалось стремление сократить тот разрыв в культурном развитии, который обнаружился между Россией и Западом в последние два века. Решение новых задач требовало новых же, по-европейски образованных людей: отсюда понятна та забота, которую проявлял Петр и его правительство по насаждению просвещения в России. Дальнейшее развитие книгопечатания, выпуск первой русской газеты, открытие светских школ и училищ, наконец, основание Петербургской Академии наук - все должно было служить этой цели.

Конечно, чисто практический подход к делам просвещения и образования, характерный для Петра и его окружения, страдал известной односторонностью: упор делался на подготовку новых, образованных служителей государства, между тем как интересы собственно научные часто отодвигались на второй план.1 Тем не менее, как бы односторонне ни подходило тогдашнее русское правительство к делам просвещения, оно много сделало для развития науки и образованности в своей стране. В особенности много выиграла от петровских преобразований историческая наука: "говоря образно, - замечает С. Л. Пештич, - организация исторической работы изменилась настолько, насколько, скажем, отличается ремесленная мастерская от мануфактурного производства".2 Росту исторических знаний, интересу к занятиям историей, наконец, самому становлению исторической науки, ибо, как наука, история оформляется именно в XVIII в.,3 способствовало множество факторов: **[47]**  здесь и причины общего характера, такие, как подъем национального самосознания и обусловленный им интерес к прошлому своего народа; и конкретные потребности современной политики, как, например, необходимость исторически обосновать те или иные законодательные меры, военные реформы или дипломатические представления; здесь и общий культурный подъем, тесно связанный с развитием просвещения и образования; и, наконец, установление более тесных политических и культурных связей с западно-европейскими странами, что особенно способствовало интересу к всеобщей истории, равно как и к истории тех государств древности, чья культура легла в основу европейской цивилизации.

Сам Петр I проявлял живой интерес к русской и всеобщей истории. По его инициативе было начато собирание старинных летописей и других рукописных материалов, важных для изучения древнейшего прошлого русского народа,4 и были предприняты работы по составлению новой истории русского государства (труды Ф. П. Поликарпова - Орлова и др.).5 Петр заботился также о переводе на русский язык исторических произведений, выходивших за границей. В его библиотеке были самые разнообразные сочинения по истории - рукописные и печатные, русские и иностранные.6 Между прочим, царь был хорошо знаком с историей и литературой античного мира. В его письмах и записных книжках часто встречаются ссылки на исторические примеры древности,7 а об его интересе к античной литературе можно судить хотя бы по таким фактам. В октябре 1708 г. царь через И. А. Мусина-Пушкина приказывал московскому печатнику Федору Поликарпову: "историю Курциеву об Александре Македонском, исправя, напечатать"8; этот перевод вышел год спустя в Москве. В марте 1716 г. Петр писал из Данцига русскому поверенному в делах в Вене: "Г. Веселовский! По получении сего приищите историю Юлия Цезаря, чтоб оная была такова выхода, как в приложенном при сем реестре написанном, и на латинском языке, а не на немецком, и пришлите к нам".9 По возвращении **[48]** из Персидского похода царь как-то заинтересовался историей языческой религии; узнав, что по этому вопросу есть сочинение древнего греческого писателя Аполлодора, он повелел перевести это сочинение на русский язык, что и было сделано типографским справщиком Алексеем Барсовым.10 Наконец сохранилось любопытное свидетельство современника, мекленбургского посла Вебера, о том, что царь Петр хорошо знал басни Эзопа и умел при случае сослаться на них.11

Живой интерес Петра к античной культуре подтверждается не только поощрением с его стороны перевода и издания памятников греко-римской литературы, но и приобретением по его заказу лучших образцов античного изобразительного искусства, и в том числе - знаменитой статуи Венеры Таврической, положившей начало императорской коллекции античной скульптуры.12

Вообще в петровское время интерес к античности несомненно возрос. Об этом свидетельствует наличие соответствующих исторических книг и произведений античных авторов в библиотеках многих сподвижников и современников Петра, например, у царевны Натальи Алексеевны,13 у Якова Брюса, графа А. А. Матвеева, царевича Алексея, князя Д. М. Голицына, В. Н. Татищева и др.14 В особенности распространению сведений об античном мире и повышению интереса к античной истории и литературе способствовал приток новой литературы, усилившийся в результате мер царя, направленных на расширение книгопечатания и переводческой деятельности. Стремясь как можно быстрее наладить издание необходимых книг, Петр I старался использовать для этого не только возможности, имевшиеся в самой России, но и помощь частных типографий западных стран, в особенности Голландии, которая была тогда одним из основных поставщиков книжной продукции в Европе. С 1699 г. в Амстердаме у Яна Тесинга, а затем и в некоторых других частных типографиях стали печататься книги по заказу русского **[49]**  правительства. Разумеется, сами голландские печатники, за незнанием русского языка, ограничивались технической стороной дела, непосредственной же подготовкой книг к изданию занимался главным образом Илья Федорович Копиевский, человек довольно образованный, судя по некоторым данным - выходец из Польши.15 Ему мы обязаны появлением на русском языке первых печатных пособий по истории и иностранным языкам, а также первыми русскими изданиями переводов древней литературы.

Первой русской книгой, напечатанной в типографии Яна Тесинга, было составленное И. Ф. Копиевским "Введение краткое во всякую историю" (1699 г.). В этом довольно-таки посредственном еще учебнике по всемирной истории, среди других материалов, давались также хронологические таблицы правителей, в том числе греко-македонских царей и римских императоров.16 В следующем, 1700 г. вышли в свет также составленные Копиевским латинская грамматика - "Latina grammatica in usum scholarum celeberrimae gentis slavonico - rosseanae adornata" (с русским переводом)17 и два небольших лексикона - латино-русско-немецкий и латино-русско-голландский, в которых слова или, как тогда говорили, "вокабулы" были подобраны по определенным темам.18 В этом же году были изданы переведенные Копиевским басни Эзопа и "Война мышей и лягушек": "Притчи Эссоповы на латинском и русском языке, их же Авиений стихами изобрази, совокупно же Брань жаб и мышей Гомером древле описана, со изрядными в обоих книгах лицами (т. е. иллюстрациями) и с толкованием".19 Впрочем некоторые из басен Эзопа были переведены и изданы Копиевским еще раньше, в качестве приложения к составленному им же "Краткому и полезному руковедению во аритметыку" (1699 г.).20 "Эсоповы притчи" в переводе Копиевского дважды затем переиздавались в России: в 1720 г. в Москве и 1717 г. в Петербурге.21

Книгоиздательская деятельность И. Ф. Копиевского представляет **[50]** несомненный интерес для всякого, кто занимается историей нашей гуманитарной науки. Тем не менее не следует преувеличивать значение этих голландских изданий для истории русского книгопечатания: книги эти ни количеством своим, ни тематикой не могли удовлетворить потребности русского государства в новой литературе.22 Вот почему, независимо от печатания книг в Голландии, русское правительство энергично занималось реорганизацией и расширением книгоиздательского дела в самой России. При этом, параллельно с устройством новых типографий, много внимания уделялось организации в широких масштабах переводческого дела. Недостаток, а по некоторым вопросам и прямое отсутствие отечественной литературы правительство стремилось компенсировать переводом иностранных книг. Неслучайно, что в эпоху преобразований переводная литература составляла основную часть книжной продукции России.23

Конечно, в выборе книг для перевода правительство руководствовалось прежде всего соображениями практической пользы: предпочтение отдавалось произведениям, трактующим о каких-либо "художествах", под которыми тогда понималось не столько искусство, сколько конкретное ремесло и прикладные науки. Этими же соображениями руководствовалось правительство и в своих заботах по подготовке грамотных переводчиков. "Для переводу книг, - говорится в указе Петра от 23 января 1724 г., - зелоv нужны переводчики, а особливо для художественных ... Художества же следующие: математическое хотя до сферических триангулов, механическое, хирургическое, архитектур цивилис, анатомическое, ботаническое, милитарис и прочие тому подобные".24 Тем не менее растущий интерес к политической и культурной жизни европейских государств способствовал переводу и других произведений - исторических и даже художественных (в нашем понимании этого слова). В частности из книг по всеобщей истории, которые в начальных своих частях затрагивали также античную эпоху, в петровское время были переведены и изданы:

"Введение в гисторию европейскую" знаменитого немецкого историка и правоведа Самуила Пуфендорфа (1632 - 1694 гг.). Книга **[51]** была переведена видным церковным деятелем и писателем Гавриилом Бужинским по личному приказу Петра I и выдержала два издания (СПб., 1718 и 1723 гг.).25 В 1-й главе этого произведения рассказывалось о Римской державе, из разделения которой "многие новые государства произыдоша"; затем шли главы об Испании, Португалии, Британии и других европейских государствах. "Введение" Пуфендорфа в русском переводе, - замечает академик П. П. Пекарский, - и есть первое (если не считать пустую компиляцию Копиевского ...) в России изданное руководство к всеобщей истории".26

"Деяния церковные и гражданские" Цезаря Барония, заново переведенные с польского сокращения Петра Скарги и изданные в Москве в 1719 г. Перевод этот, свидетельствующий об интересе к церковной истории Запада, продолжал традиции допетровских переводов XVI - XVII вв.27

Книга протестантского историка Вильгельма Стратемана "Theatrum historicum", изданная впервые в Иене, в 1656 г., и переведенная на русский язык группой переводчиков во главе с Гавриилом Бужинским. О содержании ее до известной степени можно судить по заглавию русского перевода: "Феатрон или позор (т. е. обзор) исторический, изъявляющий повсюдную историю священного писания и гражданскую чрез десять исходов и веки всех царей, императоров, пап римских и мужей славных ... " (СПб., 1724).28

Помимо этих трудов по всеобщей истории, переводились на русский язык и другие произведения, в которых также можно было найти сведения об античном мире. Так, в 1720 г. было издано в русском переводе сочинение итальянского гуманиста Полидора Вергилия (1470 - 1555 г.) "Осмь книг о изобретателех вещей" (название подлинника - "De rerum inventoribus libri VIII"). Сочинение это, хотя и сильно устаревшее к петровскому времени (оно было издано впервые в 1499 г.), все же могло представлять интерес для русского читателя, поскольку в нем имелись любопытные сведения о зарождении науки, техники и искусств, о возникновении общественных форм жизни и происхождении религиозных обычаев у различных народов древности и средневековья. К тому же это был первый **[52]** труд по истории человеческой культуры, переведенный на русский язык. Разумеется, как и во всяком другом произведении, вышедшем из под пера гуманиста, античности в этой книге уделялось много места и внимания.29

Столь же тесно связано с античностью и содержание другого любопытного произведения - "Символы и емблемата", изданного по заказу Петра I в Амстердаме в 1705 г.30 В этой книге дается 840 аллегорических изображений - "эмблем" с соответствующими пояснениями - "символами", составленными в форме афоризмов на русском и шести других европейских языках.31 В основу этого произведения было положено аналогичное издание Даниэля де Ла Фей (Daniel de La Feuille), вышедшее в Амстердаме в 1691 г. "Символы и емблемата" сыграли видную роль в приобщении русского общества к европейскому классицизму. "Сборник этот систематически вводил русского человека в круг условных образов и аллегорических представлений, заимствовавших свой материал в значительной степени из той же античной мифологии, на язык которых переводился мир живой реальности (явлений природы, вещей, понятий). Сборник выращивал и культивировал то особое "иконологическое", т. е. мифологизированно-аллегорическое мышление, которое составляет существенную черту эстетики классицизма".32 Произведение это неоднократно переиздавалось в России и служило настольной книгой для нескольких поколений русских писателей и художников.

Ознакомление русских читателей с мифологическими образами классической древности ставило своей целью другое иллюстрированное издание петровского времени - "Овидиевы фигуры в 226 изображениях" (СПб., 1722). В этой книге были перегравированы с соответствующими пояснениями рисунки к "Метаморфозам" Овидия, изданные в свое время И.-У. Краусом в Аугсбурге.33

От "Овидиевых фигур" естественно теперь обратиться к той **[53]** части переводной литературы, изданной в России в 1-й четверти XVIII в., которая была уже непосредственно связана с античной историей. Надо сказать, что петровское время несравненно богаче переводами классиков и других произведений, посвященных античности, чем предшествующие два столетия. При этом в переводах этого времени можно различить две струи: одну - продолжающую традиции древней русской литературы, с ее интересом к переводным повестям и сборникам изречений, и другую - вызванную новыми культурными веяниями и запросами, сближающими русское общество с европейским. К первой группе относится новый перевод популярной повести Гвидо де Колумна: "Историа, в ней же пишет о разорении града Трои ... " (М., 1709). Книга эта пользовалась неизменными симпатиями читателей и неоднократно переиздавалась на протяжении XVIII и даже в начале XIX в. Прослеживая распространение сведений об античном мире в России в XVIII в., мы не должны забывать о той роли, которую сыграли в этом отношении печатные издания "Троянской истории": "имевшиеся в "Истории" пересказы и переделки некоторых моментов Илиады подготовляли русского читателя к восприятию последовавших переводов из Гомера" ...34

К этой же группе переводов надо отнести и переведенный с польского сборника "Кратких, витиеватых и нравоучителных повестей "Бениаша Будного (М., 1711), более известный под названием "Апофтегмата", которое закрепилось за ним, начиная со 2-го издания (М., 1712). Сборник этот содержал изречения и беседы различных философов древности, а также полуанекдотические рассказы из жизни знаменитых писателей и политических деятелей, главным образом греческих и римских. Книга пользовалась большой популярностью и также неоднократно переиздавалась в XVIII в.35

Еще больший интерес представляют переводы второй группы, которые знакомили русских читателей с подлинными образцами античной литературы. Из четырех переводов, о которых мы собираемся упомянуть, три отражали живой интерес Петра и его окружения к военной и политической истории древних. Первым в ряду этих произведений следует назвать рукописный перевод сочинения Фронтина "Стратегемы": "Книги Иулия Фронтина, сенатора римского, о случаех военных, на четыре части разделенные". Перевод **[54]** этот, поднесенный Петру I, датирован 1692 годом. Он был сделан с польского издания Фронтина, вышедшего в Познани в 1609 г.36

В 1709 г. в Москве, по инициативе Петра, был опубликован перевод исторического сочинения Курция Руфа: "Книга Квинта Курция о делах содеяных Александра Великого царя Македонского". Это был "первый на русском языке печатный перевод латинского классика".37 Поводом к изданию этого произведения послужило, быть может, "желание Петра ознакомить интеллигенцию того времени и своих сподвижников с походами и маршрутом македонского героя в те страны азиатского Востока, за которыми русский царь следил с тем же неослабным вниманием, как и за странами европейского Запада".38 Перевод снабжен "Приполнениями", в которых дается краткий обзор событий, составлявших содержание утраченных частей сочинения Курция Руфа (книг I и II). Эти "Приполнения" - тоже перевод; оригинал - "Supplementa" Христофора Брунона, впервые приложенные к его изданию Курция Руфа (Базель, 1545). Анонимный перевод, изданный в 1709 г., был далек от совершенства. Сорока годами позже следующий русский переводчик Курция Руфа академик С. П. Крашенинников справедливо отмечал слабые стороны этого "московского издания": шероховатость стиля, неудачный выбор слов (злоупотребление славянизмами, украинизмами и другими "чужестранными речами"), частые неточности при переводе отдельных выражений и даже периодов (особенно в речах). "Одним словом, - заключал Крашенинников, - сей перевод только к тому полезен, что по нем рассуждать можно, в каком состоянии науки в России были около времен своего начала".39 Тем не менее в пору растущего внимания общества к восточным делам первый печатный перевод Курция Руфа пользовался несомненным спросом: за короткий срок, с 1709 по 1724 г., он был переиздан четырежды.40

Через два года после выхода в свет перевода Курция Руфа было **[55]** опубликовано еще одно произведение, посвященное военному искусству древних: "Краткое описание о войнах из книг Цезариевых с некоторыми знатными приметы о тех войнах, со особливым о войне разговором [или описанием]" (М., 1711). Перевод был сделан с французского сокращения Луи де Рогана, который своим изданием преследовал чисто практическую цель - на примере войн Цезаря познакомить современного офицера с важнейшими тактическими приемами (французское издание носило поэтому характерное название - "Le parfait capitaine"). Впрочем, есть указание на то, что в 1723 г. Петр приказывал сделать более полный перевод Цезаря - с латинского и голландского языков, однако это приказание не было исполнено, очевидно в связи со скорой смертью царя.41

Несколько особняком стоит четвертый перевод: "Аполлодора грамматика афинейского библиотеки, или о богах" (М., 1725). Выше мы уже упоминали об интересе Петра I к языческой религии, что и послужило непосредственной причиной для издания этой книги. Перевод был выполнен справщиком московской типографии А. Барсовым; в конце книги были помещены два ученых рассуждения: "Следование о родословии первых богов языческих", переведенное из книги французского богослова С. Бохарта, и дополнение к нему, составленное специально для данного издания русским церковным деятелем и писателем Феофаном Прокоповичем "Другие священных историй знатные следы в еллинских баснях обретающиеся". В обоих рассуждениях доказывалась зависимость религиозного мифотворчества древних греков от ветхозаветных преданий.42

Таким образом, в первой четверти XVIII в. русская литература пополнилась целым рядом новых переводных произведений, содержавших сведения об античном мире. Ознакомление с этими книгами несомненно способствовало расширению исторического кругозора русских читателей. Однако одного лишь знакомства с переводами было еще недостаточно, чтобы читатель, хотя бы и наделенный от природы недюжинным умом, мог стать исследователем. Для этого требовалось нечто большее, а именно, правильное историческое образование. Общее представление об историческом процессе, знание древних языков, знакомство со вспомогательными **[56]** историческими дисциплинами, наконец, усвоение критических методов обработки исторического материала - всем этим можно было овладеть лишь путем систематического обучения в средней и высшей школе с гуманитарным уклоном. А между тем именно таких школ и не было в России.

Правда, существовали так называемые греко-латинские школы и даже академии - училища более высокого типа, полудуховного-полусветского характера, основанные в Киеве и Москве еще в XVII в.; к ним в 1-й трети XVIII столетия добавились новые духовные академии в Петербурге (1721 г.) и в Казани (1732 г.). В этих училищах обучали древним языкам - греческому и латинскому, преподавали пиитику, риторику и начатки философии. Однако специального курса по истории программами названных академий не было предусмотрено, и лишь преподаватели риторики использовали время от времени отдельные примеры, почерпнутые из трудов древних историков. К тому же надо учесть, что все преподавание в этих академиях было пронизано традициями средневековой схоластики и подчинено задачам богословия, - естественно, в ущерб светской науке.

Впрочем, и здесь бывали свои исключения. Среди воспитанников и преподавателей таких училищ встречались оригинальные люди, чья деятельность выходила за рамки церкви и чьи труды косвенно влияли и на формирование исторической науки. Одним из таких исключений был Феофан Прокопович (1681 - 1736 гг.) - выдающийся деятель русской церкви и русского просвещения, преподаватель, а затем и ректор Киевской академии, вице-президент Синода и архиепископ Новгородский, верный сподвижник Петра Великого, поддерживавший и теоретически обосновывавший все его начинания. Феофан Прокопович был разносторонним писателем, одновременно оратором и публицистом, драматургом и поэтом. Он пробовал свои силы и в историческом жанре: им было составлено несколько специальных работ по русской (главным образом о Петре) и всеобщей истории.43 В частности, античности касались упоминавшееся выше рассуждение о греческой религии, опубликованное в качестве приложения к переводу Аполлодора, и какой-то не дошедший до нас трактат об амазонках, о котором говорит В. Н. Татищев.44 Феофана Прокоповича интересовала также **[57]** теория историописания: этому предмету он уделил специальный раздел в своей "Риторике".45 Рассуждая здесь о пользе истории, о правилах и приемах историописания, Феофан Прокопович высказывает мысли, схожие с теми, которые лет за тридцать до этого были высказаны автором "Исторического учения".46 Точно так же Феофан Прокопович постоянно опирается на опыт великих писателей древности: им широко используются сочинения Лукиана ("Как надо писать историю", - в связи с критикой польских католических историков, позволявших себе различные вымыслы по поводу России), Иосифа Флавия, Цицерона, Дионисия Галикарнасского, Квинтилиана.

Вообще Феофан Прокопович был большим знатоком античной истории и литературы: его трактаты по теории литературы - "Поэтика" и "Риторика" - буквально наполнены ссылками на античных авторов, особенно на латинских поэтов - Горация, Вергилия и Овидия, которых он часто и помногу цитирует. Однако античность не была для Феофана Прокоповича предметом исследования; интересы этого глубоко государственного человека лежали всецело в области современной истории и литературы, и если он обращался к античности, то лишь для того, чтобы почерпнуть оттуда необходимые примеры и параллели. И тем не менее косвенно его литературная и публицистическая деятельность во многом способствовала пробуждению в русском обществе интереса к классической древности: недаром Феофан Прокопович считается одним из предшественников русского классицизма.47 Между прочим, до появления Академической гимназии единственным учебным заведением в России, где история преподавалась в качестве самостоятельного предмета, была частная школа Феофана Прокоповича. Эта школа была открыта Феофаном Прокоповичем в Петербурге, в собственном доме на Карповке в 1721 г. Среди предметов, которые преподавались в ней, были древние языки - греческий и латинский, история и даже специальный курс римских древностей.48

2. Основание Академии наук и начало специальных занятий античностью (Г.З. Байер и его последователи)

**[58]** Решающий сдвиг в истории русской науки и просвещения связан с основанием Петербургской Академии наук (1724 - 1725 гг.). Проект положения об учреждении Академии наук и художеств, составленный первоначально одним из ближайших сподвижников царя-реформатора, лейб-медиком Лаврентием Лаврентьевичем Блюментростом, был внимательно читан, исправлен, а затем утвержден Петром I 22 января 1724 г., после чего, 28 января, Сенат издал соответствующий официальный указ; однако первые академики, приглашенные из-за границы, начали съезжаться в Петербург лишь со 2-й половины 1725 г., и фактически академия была открыта новым указом Екатерины I от 7 декабря 1725 г.49 В первые два десятилетия своего существования Академия наук не имела настоящего устава, и вся ее жизнь определялась Проектом положения, который был утвержден Петром I. Согласно этому Проекту, Академия подразделялась на 3 класса: 1) математический, 2) физический и 3) гуманитарный. О составе этого третьего класса в Проекте было сказано так: "Третей клас состоял бы из тех членов, которые в гуманиорах и протчем упражняются. И сие свободно бы трем персонам отправлять можно: первая б - элоквенцию и студиум антиквитатис обучала, 2 гисторию древную и нынешную, а 3 право натуры и публичное, купно с политикою и этикою (ндравоучением)".50

Как видим, в гуманитарном классе нового академического центра науке об античности отводилось видное, можно даже сказать, заглавное место. Предполагалось иметь двух соответственных специалистов: одного - по классической филологии (элоквенции) и изучению греко-римских древностей (студиум антиквитатис), а другого - по истории, в ее, впрочем, целостном, недифференцированном виде. Надо думать, что санкционированное Петром I включение классической филологии и античной истории в круг ведущих академических дисциплин свидетельствовало о понимании учредителями новой Академии той роли, которую призвано было сыграть **[59]**   классическое образование в приобщении русских людей к традициям европейского классицизма и гуманизма, в сближении таким образом русского общества с западноевропейским просвещением и культурой. Так или иначе, гуманитарные науки ( и между ними - антиковедение) с самого начала объявлялись неотъемлемой частью того "социетета наук и художеств", который, по мысли учредителей, и образовывал Академию. Позднее, после того как в 1747 г. был принят новый академический устав, гуманитарный класс был уничтожен, однако очень скоро (в следующем, 1748 г.) при Академии были созданы Исторический департамент и Историческое собрание, которые до известной степени компенсировали отсутствие в Академии специальных исторических кафедр.51

Согласно проекту 1724 г. Петербургская Академия наук должна была выполнять роль одновременно и научного и учебного заведения. В связи с этим предполагалось открыть при Академии Университет и Гимназию; преподавателями в этих заведениях должны были стать соответственно академики и их ученики - адъюнкты. Университет должен был состоять из 3-х факультетов: юридического, медицинского и философского. Проект не предусматривал открытие в Университете специального историко-филологического факультета: подготовку необходимых специалистов предполагалось осуществлять непосредственно в самой Академии, силами соответствующих академиков 3-го класса. Однако на деле так произошло и с другими специальностями. За недостатком студентов пришлось отказаться от мысли сразу же открыть правильно организованный Академический университет. На первых порах роль такого Университета исполняла сама Академия: все академики именовались профессорами и в качестве таковых должны были регулярно выступать с публичными лекциями и вести занятия с академическими студентами. Чтение академиками публичных лекций началось в январе 1726 г.; в объявлении, опубликованном Академией по этому поводу, среди академических лекторов вторым после знаменитого математика Д. Бернулли упомянут Г.-З. Байер, "антиквитетов профессор", о котором было сказано, что он "древностеи греческие, манеты и достопамятные вещи ветхого Рима изъяснит"52

Что же касается Академического университета, то он фактически начал существовать лишь с 1747 г. По новому академическому **[60]** регламенту, принятому в этом году, в Университете должны были читаться лекции по трем циклам наук: математическому, Физическому и гуманитарному. Преподавание поручалось теперь специальным профессорам, отличным от собственно академиков. В числе профессоров Университета, предусмотренных регламентом 1747 г., названы "профессор элоквенции и стихотворства" и "профессор древностей и истории литеральной", а в учебном плане Университета наряду с другими предметами фигурируют латинский и греческий языки, латинское красноречие, древности и история литеральная. Возглавлять Университет должен был ректор, который одновременно был официальным историографом. Упоминавшееся выше Историческое собрание должно было координировать деятельность академиков и профессоров Университета в области гуманитарных наук.

В отличие от Университета Академическая гимназия открылась почти одновременно с Академией - в 1725 г. Гимназия должна была служить подготовительной школой для Университета. Главное место в ней отводилось обучению иностранным языкам, в особенности латинскому и немецкому; в старших классах предусматривалось преподавание ряда общеобразовательных предметов, в частности истории.

В целом Петербургская Академия наук представляла собой довольно гибкую систему учреждений, призванных одновременно заниматься наукой и подготавливать новые кадры ученых. Основание этой Академии несомненно способствовало быстрому прогрессу во всех областях знания; отечественная наука об античности во всяком случае начинает свое существование именно с этого момента.

Надо, однако, заметить, что на первых порах членами русской Академии наук и, в частности, первыми исследователями древности были исключительно иностранцы. Это обстоятельство не должно нас смущать; как писал официальный историк Академии "нет ничего странного, ни оскорбительного для народного самолюбия в том, что в стране, где не только просвещение, но и грамотность была развита в самой ничтожной степени , не явилось при первом востребовании нескольких десятков первоклассных ученых"53 Причина, следовательно, заключалась в культурной отсталости России, хотя, возможно, эта отсталость и не была столь велика, как это рисуется **[61]** взору П. П. Пекарского, слова которого мы только-что привели. Во всяком случае, приглашение иностранных специалистов в Россию было продиктовано необходимостью; однако, та быстрота, с которой русские люди усвоили плоды западного просвещения, показывает, что в самой России почва для научного посева была готова.

Сказанное полностью относится и к исторической науке, в частности к науке об античности. Нет нужды вместе с К. Н. Бестужевым-Рюминым категорически утверждать, что "первоначальниками науки были у нас ученые немцы"54: в такой форме это утверждение вызывает протест, поскольку оно игнорирует успехи просвещения в допетровской России. Однако не менее несправедливо и другое утверждение, с которым мы сталкиваемся в фундаментальном издании советского времени "Очерки истории исторической науки в СССР": "деятельность иностранных академиков принесла не столько пользы, сколько вреда для русской историографии, направляя ее по ложному пути некритического подражания иноземной исторической литературе".55 Пренебрежительная характеристика, которая дается в "Очерках" деятельности Г.-З. Байера и Г. Ф. Мюллера (Миллера), не может не вызвать у непредвзятого читателя чувства недоумения. К счастью, нет недостатка и в объективных, взвешенных суждениях. Разумеется, читаем мы в другом солидном издании советской поры, "среди приглашенных в Академию иностранцев попадались иногда и самозванцы и явные бездельники, и авантюристы. Нередко приезжие ученые высокомерно и презрительно относились к чужой стране и насаждали слепое преклонение перед Западной Европой, что обостряло борьбу, происходившую внутри Академии. Но среди ученых, привлеченных нашей Академией, было немало и таких, которые своей добросовестной работой принесли большую пользу России".56 К числу таких ученых несомненно должен быть отнесен и первый ученый-гуманитар (если не считать маловыразительного и к тому же рано выбывшего Иоганна-Христиана Коля), первый (уже без всяких оговорок) исследователь классической древности, появившийся в стенах новой **[62]** Петербургской Академии, выходец из Кенигсберга Готлиб-Зигфрид Байер (1694 - 1738 гг.).

Для лучшего понимания того, что представлял собою Байер как ученый, какой известностью он пользовался еще до отъезда в Петербург и насколько закономерным было приглашение его на русскую службу, необходимо хотя бы кратко остановиться на его биографии. Главными пособиями для нас послужат: в русской литературе - соответствующий очерк в известном труде П. П. Пекарского,57 а в зарубежной - вступительная статья Х. А. Клотца к его изданию сборника малых работ Байера58 и специальная диссертация Ф. Бабингера.59 Ценность этих пособий определяется тем, что они, в свою очередь, опираются на автобиографические записи самого Байера, хранящиеся (или, по крайней мере, хранившиеся) в архивах Петербургской Академии наук (на них опирался Пекарский) и Городской библиотеки Кенигсберга (эти были использованы Бабингером).

Готлиб-Зигфрид Байер родился в Кенигсберге 6 января (по новому стилю) 1694 г. Происходил он из семьи небогатой, но с прочными интеллигентными традициями. Судя по фамильному имени предки Байера были родом из Баварии, откуда они, вероятно, по религиозным мотивам, поскольку были ревностными протестантами, переселились в Венгрию. Дед будущего петербургского академика Иоганн Байер был видным протестантским проповедником в немецких общинах Верхней Венгрии, но до того, как обратиться к священнической деятельности, учился в Виттенберге и с успехом занимался математикой и философией. Его сын Иоганн-Фридрих Байер пошел по другой стезе: рано осиротев, он покинул Венгрию, учился живописи в Данциге и, наконец, обосновался в Кенигсберге, где зарабатывал себе на жизнь трудом художника. В сыне этого живописца Готлибе-Зигфриде рано проснулась любовь к науке, и родители сумели определить даровитого мальчика в классическую гимназию Collegium Fridericianum. Здесь он хорошо овладел греческим и латинским языками и, следуя традициям немецких гуманистов - homines trilingues, приступил к изучению древнееврейского. **[63]** Его интересовала история христианской церкви и литературы, и он прилежно посещал королевскую библиотеку.

В 1710 г., шестнадцати лет отроду, Байер поступил в Кенигсбергский университет, а уже через год, чтобы помочь родителям, сам начал давать уроки в своей бывшей гимназии. "Ежедневно, - рассказывает, опираясь на его записки, П. П. Пекарский, - семь часов проходило у него в классе за уроками чистописания и латыни более чем 160-ти ученикам. Хотя это было для него очень тяжело, однако он исполнял добросовестно свои обязанности, был в хорошем расположении духа и свободное время посвящал наукам, читая усердно Аристотеля и находя еще довольно досуга, чтобы уделять ежедневно один час на изучение еврейской Библии".60 Постепенно Байера все более начинает интересовать история и литература Востока: овладев еврейским, он начинает изучать другие семитические языки, а затем, заинтересовавшись историей Китая, приступает к изучению китайского языка. Его интересы разделяются между античностью, историей церкви и восточными языками.

В 1715 г. Байер написал специальную диссертацию по поводу одного места из евангелия от Матфея, а именно о словах распятого Христа, произнесенных им по-арамейски: "Eli, Eli, lema sabacthani - Боже мой, Боже мой! для чего ты меня оставил?" (Mt 27, 46). Публичная защита этой диссертации принесла ему известность; он знакомится с Христианом Гольдбахом, известным математиком, впоследствии повлиявшим на его решение отправиться в Россию; у него появляются покровители, которые добиваются для него от кенигсбергского магистрата стипендии для ученых путешествий по Германии. Байер продолжает свое образование в Берлине, Галле и Лейпциге; его наставниками в этот период были, между прочим, такие знаменитости, как: в Берлине - библеист и математик А. де Виньоль и лингвист М. В. де Лакроз, в Галле - знаток эфиопского языка и истории И. Г. Михаэлис и специалист по истории греческой церкви И. М. Гейнекций, в Лейпциге - придворный саксонский историограф И. Б. Менке. Последний продолжал издание основанного еще его отцом журнала "Acta Eruditorum", к участию в котором он привлек теперь и Байера. В Лейпциге же Байер получил и первые свои ученые степени: в ноябре 1716 г. - бакалавра, а в феврале 1717 г. - магистра.

По возвращении в Кенигсберг (осенью 1717 г. Байер получил **[64]** место библиотекаря в Альтштадтской городской библиотеке (1718 г.), а затем последовательно места конректора и проректора в Кенигсбергской кафедральной школе (1720 и 1721 гг.). Как в библиотеке, так и в школе его деятельность была отмечена кипучей энергией. В школе предметом его преподавания естественно стали классические языки и литература. Составленный им учебный план включал чтение речей афинского оратора Антифонта, греческого Нового завета и латинских авторов - Теренция, Вергилия, Цицерона и др. В научном плане в этот второй кенигсбергский период своей деятельности Байер начинает интересоваться древней историей родного прибалтийского края (в особенности Пруссии и Тевтонского ордена) и вместе с тем продолжает свои занятия в области классической древности и литературы. Так, он задумал осуществить новое издание греческих ораторов и, в рамках этого плана, приступил к подготовке издания речей первых мастеров аттического красноречия Антифонта и Андокида. При этом греческий текст предполагалось сопроводить новым переводом с примечаниями геттингенского профессора И. М. Геснера. Однако, судя по всему, это предприятие осталось незаконченным. Завершению дела помешал отъезд Байера в Россию.61

Действительно, в конце 1725 г. Байер, уже пользовавшийся известностью в научных кругах в Германии, получил приглашение поступить на русскую службу во вновь открывавшуюся в Петербурге Академию наук. Приглашение нашло отклик в душе Байера, который мог связывать со службой в России надежды на лучшие перспективы для своей научной деятельности. Свою роль сыграло также воздействие Христиана Гольдбаха, который, по признанию Байера, первым подал ему мысль о поездке в Россию (сам Гольдбах в этом плане опередил Байера, определившись на службу в Российскую Академию наук с 1 сентября 1725 г.). "При предложении места в Петербургской Академии, - читаем мы далее у П. П. Пекарского, - Байеру предоставлена была свобода избрать кафедру или древностей, или восточных языков, или истории, или же, наконец, сделаться историографом ее императорского величества (т. е. Екатерины I. - Э. Ф.). Он избрал древности и восточные языки, согласно чему и состоялся с ним контракт 3 декабря 1725 года, в силу которого он получил 600 рублей в год, с казенною квартирою, **[65]** отоплением и освещением".62

Байер прибыл в Петербург в феврале 1726 г. С этого времени его научная деятельность неразрывно связана с русской Академией наук. Крупный ученый, объединявший в своем лице одновременно филолога и лингвиста, историка и археолога, Байер был неутомимым тружеником: за двенадцать лет пребывания в России он написал несколько больших книг и множество статей на самые разнообразные темы (преимущественно древней истории). Главными предметами его научных занятий в России были восточные языки, особенно китайский, древнейшая русская история и античность. Востоковедные занятия Байера - предмет специальный, заслуживающий того, чтобы его рассматривал кто-либо иной, более к тому подготовленный, - востоковед, а не античник. Об исследованиях Байера в области русской истории скажем чуть более подробно ввиду их большей доступности и большей связи с античностью.

Русской историей Байер занимался отчасти из естественной научной любознательности, отчасти же - ex officio, поскольку этого если и не требовали, то все-таки ожидали от него как от единственного на первых порах представителя историко-филологической науки в русской Академии. Так или иначе, не чувствуя себя достаточно подготовленным к такого рода занятиям (он не знал русского языка), он ограничивался такими сюжетами древней русской истории, по которым имелись доступные ему античные, византийские или скандинавские источники, не отказываясь, впрочем, совершенно и от использования русских материалов, поскольку они открывались для него в специально сделанных переводах.63 В этих условиях естественным было обращение Байера к самым истокам русской истории, к началам русского этно- и политогенеза, к теме варяго-россов, так выпукло представленной как в русской летописной, так и в византийской традиции.64 Естественная, хотя и **[66]** несколько прямолинейная интерпретация этой традиции привела Байера к выводу о решающей роли варягов, или норманнов скандинавского происхождения, в возникновении Русского государства. Это была первая научная концепция начала русской истории, но ее норманнский акцент привел очень скоро к острой, не затухающей и по сию пору полемике, в которой представители патриотической русской историографии (начиная с М. В. Ломоносова и кончая М. Н. Тихомировым) не удерживались подчас от самых резких, переходящих всякую меру негативных суждений по адресу Байера.65

Антиковедные занятия Байера, к счастью, на задевают ничьего ни национального, ни личного самолюбия, и здесь возможно высказать самое беспристрастное и вместе с тем безоговорочно уважительное отношение к трудам ученого, в котором такой авторитетный судья, как Август-Людвиг Шлецер, признал "одного из величайших гуманистов и историков своего столетия".66 Как и в других областях историко-филологического знания, так и в антиковедении Байер был великим предуготовителем новейшего научного движения. Его исследования в области античной истории были посвящены, как правило, темным и еще не изученным вопросам исторической географии, этногенеза и хронологии. Работы такого рода как бы расчищали дорогу для последующего исследования политической и социальной истории древнего мира. Вместе с тем каждый раз по соответствующему сюжету они предлагали исчерпывающую (на тот момент) подборку источников, свидетельств литературной традиции и дополняющих ее археологических и нумизматических данных, а также первичный, подчас весьма глубокий их анализ. Что касается конкретных тем для своих многочисленных антиковедных штудий, то Байер выбирал их, руководствуясь различными соображениями: отчасти это были стремления найти в классической древности сюжеты, близкие восточной или русской истории, отчасти же - непосредственный интерес к самой античности. С этой точки зрения все работы Байера, относящиеся к античной истории, можно разделить на три больших группы.

Первая группа, связанная с интересом Байера к древней истории **[67]** Китая, Индии и других восточных стран, представлена двумя большими сочинениями: одно из них посвящено истории города Эдессы (в северной Месопотамии) в античное и средневековое время,67 другое - Греко-бактрийскому царству.68 Обе книги до сих пор остаются хорошими сводками материала по истории эти стран, составлявших восточную периферию греко-римского мира. Еще важнее самая новизна проложенного Байером научного направления. Необходимо самым выразительным образом подчеркнуть актуальность проявленного им интереса к зоне культурного взаимодействия античного и передневосточного миров, невероятное опережение им научного диапазона и возможностей своего времени, когда, казалось бы, и помыслить было невозможно о тех областях исследования, которые в новое время будут ассоциироваться с понятием восточного эллинизма и с именами таких общепризнанных новаторов, как И. Г. Дройзен, В. В. Тарн и М. И. Ростовцев.

Во вторую группу входят работы, имеющие известное отношение к древнейшему периоду русской истории. Это, прежде всего, серия статей, посвященных скифам, киммерийцам, гипербореям - племенам, согласно традиции населявшим в глубокой древности те территории, которые стали колыбелью Киевской Руси.69 Байер был первым исследователем, который всерьез занялся изучением происхождения и расселения скифских племен, историей их отношений с греческими городами Причерноморья, судьбою тех и других в позднеантичную эпоху. С этой целью им была произведена подборка и сопоставление важнейших высказываний о Скифии, содержащихся у древних авторов - от Ономакрита и Эсхила до Клавдия Птолемея и других писателей поздней античности. **[68]** При этом особенно много места он, как и следовало ожидать, уделил анализу сообщений Геродота, нашего важнейшего источника по истории Северного Причерноморья в античную эпоху.

Конечно, конкретные исторические выводы Байера сейчас представляются устаревшими. Это относится, в частности, к проводимому им сближению скифов с финнами, эстами и некоторыми другими прибалтийскими племенами, равно как и к обнаружению прародины скифов в Армении, откуда они будто бы, обогнув Каспийское море с востока, перешли в Заволжье. Однако не все в этих положениях должно считаться абсурдным. Так, если современная наука утверждает иранское происхождение господствующего слоя скифского общества, кочевых, или царских, скифов, то это не должно затемнять для нас конгломератного качества скифского мира в целом, где в низших слоях вполне могло найтись место и для древних фино-угров, и для предков славян. С другой стороны, район Большой Армении или близких к ней земель и в самом деле мог быть прародиной тех иранских племен, которые, продвинувшись к Волге, а затем и перейдя ее, стали историческими скифами. В любом случае статьи Байера содержали богатую историческую информацию и давали первые примеры критической обработки столь драгоценного для предыстории восточного славянства сюжета, каким является Геродотова Скифия. Можно лишь пожалеть, что эти работы рано и незаслуженно были забыты.

К статьям о скифах примыкают два других сочинения Байера, создание которых было обусловлено, по-видимому, не только научными интересами исследователя, но и политическими требованиями времени. Это, во-первых, статья об остатках древних укреплений на Кавказе, с которыми русские столкнулись во время Персидского похода Петра I (1722 г.).70 Заметим, что в этой работе Байер использовал, помимо прочих материалов, записки одного из участников петровского похода князя Дмитрия Кантемира. Последний умер вскоре после возвращения из похода, и с записками его Байер ознакомился благодаря любезности сына его Антиоха Кантемира. Внимательно изучив свидетельства древних и средневековых писателей, Байер правильно определил, что укрепления эти, остатки которых прослеживаются в районе Дербента, в узком **[69]** проходе между Каспийским морем и Кавказскими горами, были возведены иранским (сасанидским) правителем Хосровом I Ануширваном (531 - 579 гг.) для защиты его владений от вторжений северных кочевников.

Второе сочинение посвящено истории Азова, борьба за обладание которым стала со времени Азовских походов Петра I (1695 - 1696 гг.) важным моментом в стремлениях России утвердиться на берегах Черного моря. Написанное по-немецки, это новое произведение Байера было сразу же переведено на русский язык адъюнктом Петербургской Академии (ставшим позднее крупным ее деятелем) Иоганном-Каспаром Таубертом и издано отдельной книгой (впрочем, без имени автора на титульном листе).71 Изложение открывается обстоятельной историко-географической характеристикой земель в низовьях Дона в античную эпоху (с. 4 - 47), что для нас естественно представляет особый интерес. Здесь, в частности, подробно рассказывается об освоении греками устья Танаиса (Дона) и судьбах одноименного поселения, предшественника современного Азова. Автор использует все имевшиеся тогда в распоряжении ученых материалы, сообщения античных, византийских и восточных писателей, однако, при всем том, изложение отличается ясностью и простотой: очевидно, учитывались интересы сравнительно широкого круга читателей.

О стиле и манере изложения как оригинала, так и перевода можно судить хотя бы по такому отрывку, где описываются причины и характер греческой колонизации: "Греция была в древние времена весьма многолюдна, однако же не везде такова состояния, чтоб она своих знатно умножающихся жителей местом и пропитанием удовольствовать могла. Сие подало причину как приморским, так и на различных островах стоящим городам вымышлять всякие средства к отвращению толь великого недостатка. Торги, к которым море сему народу довольную подавало способность, показывали притом изрядной путь к убежанию от скудости. Ибо иногда городы, а иногда и целые народы соединялись к населению других, вне Греции лежащих мест. Оные новые жители заняли берега Натолии, Сицилии, нижние части Италии и многих других земель, так что торги почти всей тогда знаемой части света нечувствительно к ним **[70]** перешли. Равным же образом поселились они и около всего Черного моря, причем на берегах Крымского полуострова Феодосия, Херсон, Пантиципеум и многие другие городы весьмы славны учинились" (с. 10 - 11). Вспоминая о противоречивых и нередко запутанных положениях некоторых современных исследователей, об их бесконечных спорах, какой именно фактор определил начало греческой колонизации - торговый, аграрный или демографический, - невольно восхищаешься мудрой простотой, с которой это вопрос трактован ученым, жившим два с половиной века назад!

Третью группу работ Байера, связанных с античностью, составляют статьи, создание которых было продиктовано непосредственным интересом к классической древности. Здесь прежде всего нужно назвать две работы об Ахейском союзе, крупнейшем федеративном объединении, существовавшем в Греции в эллинистическую эпоху (III - II вв. до н. э.).72 В этих статьях не только устанавливались основные даты в истории Ахейского союза и давался перечень всех его высших должностных лиц - стратегов от основания единства до его уничтожения римлянами (281 - 146 гг. до н. э.), но и рассматривалась внутренняя организация этой федерации, отношения Союза с другими греческими государствами и Римом, деятельность выдающихся ахейских руководителей Арата и Филопемена. И здесь тоже заслуживает быть отмеченной не только скрупулезность весьма специального исследования, но и очевидная новизна предмета, особенно в сравнении с традиционным для классического антиковедения вниманием к древней монархии. Новаторство Байера будет оценено по достоинству, если мы примем во внимание, что он обратился к изучению федеративного движения в Элладе за сто с лишним лет до признанных зачинателей этого направления Эд. Фримена и Ф. Г. Мищенко.

Прочие работы, относящиеся к этой группе, носят более частный характер. Это, во-первых, специальный этюд, посвященный малоизвестному римскому поэту I века н. э. Вестрицию Спуринне.73 Автор пытается здесь восстановить биографию Спуринны и дает подборку сохранившихся фрагментов его стихов. Это, далее, ряд более или менее пространных заметок об античных монетах - греческих **[71]** (египетского царя Птолемея Лага, городов Эгия в Ахайе, Эрифр в Ионии, Гиртона в Фессалии) и римских (в частности, найденных в Восточной Пруссии).74 Наконец, небольшая, но заслуживающая особого внимания статья о Венере Книдской (как значится в латинском тексте Байера) - статуе Афродиты, украшавшей Летний сад в Петербурге, и аналогичных изображениях богини на двух монетах из Книда.75 Автор, показывающий здесь себя мастером искусствоведческого анализа, убедительно доказывает, что эта статуя, приобретенная по распоряжению Петра I в Италии, была произведением античного времени - копией знаменитой статуи Афродиты Книдской, изваянной афинским скульптором IV в. до н. э. Праксителем. Эта статуя, позднее перенесенная из Летнего сада в Таврический дворец (откуда и прозвище ее - Венера Таврическая), как уже было сказано, положила начало формированию русской коллекции античной скульптуры. Ныне статуя занимает почетное место в экспозиции Античного отдела Государственного Эрмитажа. Ее считают римской репликой с эллинистической (примерно III в. до н. э.) копии Афродиты Книдской Праксителя Младшего.

Ученые труды Байера - это, как правило, частные исследования, посвященные какому-либо конкретному сюжету и основанные на скрупулезном анализе всех известных тогда источников. Байер отличался колоссальной начитанностью, его память хранила множество фактов, почерпнутых из литературы самого различного происхождения, и всю эту поистине огромную эрудицию он старался использовать для решения интересовавших его историко-филологических или археологических проблем. Разумеется, не все его выводы выглядят убедительными с позиций современной науки. Однако, при всей наивности или прямолинейности некоторых его лингвистических и исторических заключений (в первую очередь, конечно. по части русских древностей), нельзя отрицать того очевидного факта, что для своего времени это был крупный, выдающийся ученый. В его лице в Петербургской Академии наук оказалось представленным новое, тогда еще только нарождавшееся в европейском антиковедении направление, знаменовавшее переход от наивного эрудитства, столь характерного для времени Возрождения и раннего **[72]** Просвещения, к критическому переосмыслению традиции. В этом плане Байера можно поставить в один ряд с такими выдающимися основоположниками новейшей науки об античности, какими были Р. Бентли, И. И. Винкельман и Ф. А. Вольф.

При этом надо подчеркнуть еще одну в высшей степени симпатичную черту в петербургском академике - его способность к критической самооценке. Демонстрируя в своих сочинениях новые научные приемы обработки и истолкования древних текстов и археологических материалов, Байер хорошо сознавал, что он стоит еще в самом начале пути, который предстоит пройти новейшей науке. Отсюда - повышенные требования к работе исследователя. Хорошо обрисована эта черта в Байере известным специалистом по русской историографии Н. Л. Рубинштейном: "Строгость научной критики, точность научного доказательства, настойчиво проводимые Байером в его исследованиях, выражены им в яркой формуле, резко подчеркивавшей разрыв с баснословием предшествующих историков, с вольным перекраиванием прошедшего: ignorare malim quam decipi - лучше признать свое незнание, чем заблуждаться".76

Вместе с тем не будем забывать, что новаторство Байера не ограничивалось одним лишь методом исследования - важна была и сущностная сторона дела, избрание им для своих исследований таких актуальных тем, как историческая жизнь контактных зон Переднего Востока, этногенез скифов и других народов, населявших в древности Причерноморье, федеративное движение в античном мире, - тем, которые делают Байера прямым предтечей современной науки об античности

Представление о масштабности фигуры Байера-классика, складывающееся на основании впечатлений от его ученых трудов, подкрепляется тем, что нам известно о его педагогической и общественной деятельности. Байер широко понимал свои обязанности члена новой Российской Академии наук. Помимо напряженной научной работы он много времени уделял чтению лекций и делам Академической гимназии: заведывание этой последней перешло к нему после того, как прежний ее инспектор, профессор И. Х. Коль, покинул Академию (1727 г.). Воздействие Байера на постановку гимназического дела в петербургском научно-учебном центре было весьма благотворным, поскольку с понятиями о долге и дисциплине он соединял широкие взгляды на задачи именно классического образования, **[73]** бывшего в ту пору основой основ всякой учености. По его словам, люди, берущиеся наставлять других в классической словесности, "не должны считать достаточным для объяснения какого-либо автора некоторое знание латыни и умение отыскивать в лексиконе. Без обширных знаний, в особенности древностей, невозможно с пользою объяснять авторов: напротив, надо опасаться, что юношество станет скучать или ничего не делать".77 Сказанное, надо признать, не утратило своего значения и по сию пору, даже в таком именитом очаге просвещения, как Санкт-Петербургский государственный университет.

Знакомясь далее с деятельностью Байера в Петербурге, нетрудно убедиться, что его творческая активность в качестве ученого и педагога-классика стала естественным основанием для его органического вхождения в жизнь новой России. В самом деле, в бытность свою в России Байер установил контакт с виднейшими представителями передовой русской интеллигенции, ратовавшей на рубеже 20-30-х гг. XVIII в. за сохранение и расширение начатых Петром I преобразований. Мы располагаем целым рядом свидетельств, подтверждающих наличие близких отношений между Байером и выдающимся сподвижником Петра, главой его "ученой дружины", архиепископом Новгородским Феофаном Прокоповичем. Байер преподавал в основанной Феофаном Прокоповичем и помещавшейся в его доме на Карповке частной школе. В свою очередь, высокий государственный деятель всячески поощрял и , насколько это было в его силах, облегчал научные занятия и самую жизнь Байера в Петербурге. О близости их отношений свидетельствует такой, например, факт: когда у Байера умер сын, Феофан Прокопович направил скорбящему отцу специальное послание с утешением в горе.78

Весьма близок был Байер и с семейством князей Кантемиров, также прочно связавших свою судьбу с петровской Россией. Молодой Антиох Кантемир, один из основоположников новой русской литературы, слушал лекции Байера в Академии наук и на всю жизнь сохранил чувства глубокой признательности и уважения к великому ученому: "мудрейшим" (sophotatos) именует он Байера в одном из своих писем.79 Мы уже упоминали о том, что А. Кантемир предоставил в распоряжение Байера записки своего отца о древних кавказских укреплениях. Доставил он ему и другие материалы, связанные с историей рода Кантемиров, на основании которых Байер составил большое жизнеописание деда Антиоха, владетельного молдавского князя Константина Кантемира. Сочинение это, написанное по латыни, было издано с параллельным русским переводом много лет спустя после смерти Байера и Антиоха Кантемира.80

Эти связи и отношения достаточно хорошо характеризуют общественное лицо Байера, ставшего, так сказать, своим человеком в кругу новой, взращенной Петром, русской интеллигенции. Добавим к этому, что в Академии наук Байер последовательно отстаивал права и интересы ученой корпорации, что привело его к конфликту с всесильным правителем Академии И. Д. Шумахером. Последний, в отместку, не позволял строптивому академику даже пользоваться академическими коллекциями античных монет!81 В конце концов, не вынеся этой борьбы, Байер подал в отставку (1737 г.). Он намеревался вернуться на родину, в Кенигсберг, однако заболел и умер от горячки в Петербурге 10 февраля 1738 г.

Байер не оставил после себя научной школы. Причиной тому была нехватка студентов в первые годы существования Академии наук. Однако неверно было бы думать, что его деятельность прошла бесследно для русской науки и, в частности, для русского антиковедения: его труды составляют существенную часть того, что может быть названо начальным периодом этой науки, и , конечно же, у него были в России свои если не ученики в строгом смысле этого слова, то, по крайней мере, восприимчивые и благодарные слушатели, читатели и последователи. К их числу принадлежит прежде всего зачинатель русского литературного классицизма князь Антиох Дмитриевич Кантемир (1709 - 1744 г.).82

**[75]** Отец будущего сатирика молдавский господарь Дмитрий Кантемир во время русско-турецкой войны 1711 г. принял сторону России; однако война сложилась неудачно, и Кантемир вместе с семьей и многими другими молдавскими дворянами вынужден был переселится в Россию. Здесь он стал одним из ближайших помощников Петра I. Дмитрий Кантемир был не только политическим деятелем, но и крупным ученым и писателем: его перу принадлежит ряд ценных сочинений по истории Молдавии и Оттоманской империи. Сам человек высокой культуры, он постарался, чтобы и дети его получили хорошее образование. Впрочем, особой любовью к наукам отличался лишь младший из его сыновей - Антиох, которому и суждено было стать родоначальником новой русской литературы.

В детские годы образованием А. Кантемира руководили домашние учителя: священник, грек по происхождению, Анастасий Кондоиди и питомец Московской славяно-греко-латинской академии И. И. Ильинский, впоследствии служивший переводчиком при Петербургской Академии наук. Это были знающие люди, и у них А. Кантемир получил хорошую подготовку по части древних языков, литературы и истории. Есть также данные предполагать, что в течение некоторого времени, впрочем очень недолгого, А. Кантемир обучался в Славяно-греко-латинской академии в Москве. В 1722 г. молодой Антиох вместе с отцом сопровождал Петра I в Персидском походе. Вскоре поле этого Дмитрий Кантемир умер и перед его сыном встал вопрос, как устроить свою жизнь дальше. В мае 1724 г. он обратился к Петру I с просьбой послать его учиться за границу. В прошении, поданном по этому случаю, четырнадцатилетний мальчик писал: "Крайнее желание имею учитися, а склонность в себе усмотряю чрез латинский язык снискати науки, а именно знание истории древния и новыя, географию, юриспруденцию и что к стату политическому надлежит. Имею паки и к математическим наукам не малую охоту, также между делом и к минятуре".83

Продолжить тогда свое образование за границей А. Кантемиру не удалось; он должен был поступить на военную службу и таким образом распрощаться с мыслью об обучении в "знаменитых окрестных государств академиях". Зато, когда в Петербурге открылась своя Академия наук и представилась возможность брать уроки у тамошних профессоров, Кантемир не замедлил этим воспользоваться. **[76]** В течение двух лет (1726 - 1727 гг.) Кантемир слушал лекции выдающихся ученых; в частности, под руководством Байера он усовершенствовал свои познания в области античной истории, а попутно и в древних языках. К этому же времени относится начало его литературной деятельности. Известность ему принесли его сатиры (создание первой относится к 1729 г.), в которых он выступил обличителем косности и невежества. Кантемир сблизился с Феофаном Прокоповичем и вместе с ним принял участие в борьбе с попытками верховников ограничить царское самодержавие (в 1730 г., при вступлении на престол Анны Ивановны). Успеху этой борьбы Кантемир, ведший агитацию среди гвардейских офицеров, способствовал немало, однако его заслуги не были оценены по достоинству. Блестящий ум и глубокие знания молодого князя, его быстрые успехи в обществе, а главное - острый язык его сатир, повсюду распространявшихся в списках, порождали зависть и недоброжелательное отношение к нему в придворных кругах. Среди тайных его недоброжелателей были такие могущественные люди, как вице-канцлер А. И. Остерман и фаворит императрицы Э. И. Бирон. Вскоре нашли приличный способ удалить Кантемира от двора: он был назначен русским посланником в Лондоне и уже в январе 1732 г. должен был покинуть Россию. С тех пор и до самой смерти Кантемир находился на дипломатической службе; он был послом сначала в Лондоне, а затем в Париже; здесь он и умер в марте 1744 г.

Хотя выполнение правительственных поручений отнимало у Кантемира много времени, он и за границей не оставлял своих научных и литературных занятий. Этому в значительной степени способствовало его знакомство с выдающимися европейскими учеными, многие из которых (как, например, Монтескье) стали его друзьями. С другой стороны, не прерывались связи Кантемира с Петербургской Академией наук, к которой он всегда относился как к своей Alma mater; свое высокое положение он использовал, чтобы, по возможности, облегчить для русской Академии контакты с европейскими учеными. В свою очередь, члены Академии с большим уважением относились к Кантемиру, видя в нем не только влиятельного вельможу и государственного деятеля, но и достойного корреспондента, искреннего друга науки и просвещения.

Политические идеалы Кантемира были тесно связаны с образом сильного монарха-просветителя. Неслучайно, что в русской литературе Кантемир стал зачинателем классицизма - того литературного **[77]** направления, которое по-преимуществу питалось идеями просвещенного абсолютизма. В ту пору это было прогрессивное направление. "Сильными сторонами классицизма были высокий гражданский пафос, требовавший, чтобы во имя общегосударственных задач приносились в жертву личные страсти и интересы; культ разума, противопоставлявшийся средневековой мистике; наконец, в непосредственной связи с этим - оплодотворенность великими образцами античного искусства".84 Античность была неиссякаемым родником, откуда новая европейская литература без устали черпала материал для выражения своих идей. Более того, знакомство с литературными теориями и практическими опытами древних писателей несомненно способствовало возрождению целых жанров, как, например, сатиры, развитие которой на русской почве неразрывно связано с именем Кантемира.

На творчестве Кантемира влияние античности сказалось не меньше, чем на творчестве представителей западно-европейского классицизма. Кантемир всегда проявлял большой интерес к античной истории; он превосходно знал греческую и римскую литературу и в своих сатирах сознательно подражал великим римским поэтам - Горацию, Персию, Ювеналу. Интерес Кантемира к античности нашел выражение, в частности, в ряде переводов, которые составляют значительную часть его литературного наследия. Заметим, что это обращение Кантемира к переводам было продиктовано не только общим увлечением античностью, столь характерным для той эпохи, - у русского писателя были еще свои, особые расчеты: в переводах памятников классической литературы он видел могучее средство обновления и обогащения русского языка. Для нас, во всяком случае, переводческая деятельность Кантемира представляет огромный интерес как свидетельство начавшегося обращения русских людей к изучению античности.

Кантемиром были переведены произведения шести античных авторов: двух философов - Кебета и Эпиктета, двух поэтов - Анакреонта и Горация и двух историков - Корнелия Непота и Юстина.85 Выбор авторов показывает, что***v*** интересовало Кантемира в **[78]** древней литературе. Судьба этих переводов сложилась печально: ни один из них не был напечатан при жизни писателя; часть, правда, была опубликована позднее (Гораций, Анакреонт, Кебет), однако другие так и остались в рукописи, причем два перевода - Эпиктета и Корнелия Непота - теперь утрачены.

Одной из первых была переведена Кантемиром "Таблица Кевика (sic!) Философа" (рукопись датирована 1729 г.).86 Эта "Таблица" или "Картина" (в подлиннике - ***Pivnax***), содержащая аллегорическое изображение человеческой жизни, в древности приписывалась ученику Сократа фиванцу Кебету (ок. 400 г. до н. э.), однако новейшие исследователи отрицают авторство Кебета и, учитывая своеобразный полупифагорейский - полустоический тон сочинения, считают его творением какого-нибудь новоявленного пифагорейца, жившего уже в I в. н. э. Во времена Кантемира никто, конечно, еще не сомневался в авторстве Кебета. "Картина" переведена Кантемиром с французского, однако по некоторым признакам можно заключить, что переводчик, по крайней мере в некоторых случаях, сверялся с греческим подлинником. В "Предисловии к читателю" Кантемир указывает, что он "нарочно прилежал сколько можно писать простее, чтобы всем вразумительно". И действительно, язык перевода отличается ясностью и простотой - качествами, вообще характерными для прозы Кантемира. Другое философское произведение, переведенное Кантемиром значительно позднее, - "Епиктитово нравоучение", под которым надо понимать скорее всего "Руководство" ( ***jEgceirivdion***) к философии Эпиктета, составленное учеником философа Флавием Аррианом. Этот перевод ныне утрачен. Несомненно, однако, что оба перевода стояли в связи друг с другом; возможно даже, что они были сделаны с одного и того же издания, поскольку "Картина Кебета" печаталась обычно в качестве приложения к "Руководству Эпиктета". Во всяком случае оба перевода отражают устойчивый интерес Кантемира к этическим учениям древних.

Остальные переводы Кантемира выполнены уже непосредственно с языка подлинника - греческого или латинского. Здесь прежде всего надо назвать стихотворные переводы Анакреонта и Горация; **[79]** первый датирован в рукописи 1736 годом, второй - 1742-м.87 Каждый перевод снабжен предисловием, в котором дается обоснование предпринятого труда и характеризуются средства (издания и переводы) и приемы, с помощью которого он выполнен. Затем следует краткое жизнеописание соответствующего поэта (заметим, что во времена Кантемира никто еще не сомневался в принадлежности всех анакреонтических стихотворений Анакреонту) и, наконец, самый перевод, сопровождаемый подробными комментариями филологического и реально-исторического характера. Особенно обширны комментарии к Горацию: там они занимают даже больше места, чем перевод. Кантемир стремился таким образом восполнить существовавший тогда недостаток в пособиях по истории античной культуры: в его примечаниях русский читатель мог найти "поистине целую энциклопедию знаний по классической древности".88

Кантемировские переводы Анакреонта и Горация - замечательное явление в русской литературе. Значение из состоит не только в том, что они были первыми на русском языке стихотворными переводами древних поэтов; особенностью их было то, что они были выполнены в новой, тогда еще необычной манере - стихами без рифм, с сохранением размера подлинника. Конечно, Кантемир опирался здесь на опыт западно-европейских поэтов, однако в России это было новшество, и сам Кантемир прекрасно сознавал это. "Ведаю, - писал он в предисловии к переводу Горация - что такие стихи иным стихами, за тем недостатком рифмы, не покажутся; но ежели они изволят прилежно примечать, найдут в них некое мерное согласие и некой приятной звон, который, надеюся, докажет, что в сочинении стихов наших можно и без рифмы обойтися".89 Таким образом Кантемиром были переведены 55 анакреонтических стихотворений и все послания Горация (кроме последнего - "К Пизонам" [Ars poetica]).

Глубокое проникновение в смысл подлинника и точная передача его на русский язык составляют бесспорное достоинство этих переводов. Некоторые из них отличаются удивительным по тому времени изяществом и легкостью. Вот, например, одно из анакреонтических стихотворений - "О своей полюбовнице" (28): **[80]**

|  |  |
| --- | --- |
| Превосходнейший меж всеми Живописцы и начальник Ты родийского искусства,  Нутко, примись, напиши мне Полюбовницу отсущу, Такову, как я скажу ти. Напиши ты мне в начале Мягки черноваты кудри, И, буде воск того сможет, Пусть те будут благовонны. Напиши от двух щек выше, Под присмуглою косою, Чело из кости слоновой. Брови пусть не отдаленны, Не близки будут друг к другу; Да не чувственное будет Что порожжее меж ними, Пусть черны будут ресницы, | Огненные сделай очи, Как Минервиныя серы И как Венусовы светлы. Шипки90 с молоком смешавши Тем напиши нос и щоки, Уста сделай таковыя, Чтоб все чувства побуждали И лобзания прошали. Ниже мягкого бородка, Вокруг белой как снег шеи Пусть летят все благодати. Облачи ты ее впрочем В бледно-багряну одежду, И сквозь ту мала часть плоти Пусть видна будет, чтоб тело Каково с того познати. Полно столько: уж всю вижу; И вот воск говорить станет. |

Об учености, равно как и о чувстве прекрасного, свойственным Кантемиру-переводчику, можно судить хотя бы по такому его примечанию к строке 27-й только что приведенного стихотворения:

"Ниже мягкого бородка. Греческое слово truferos значит мягкой или нежной. Понеже бродок есть прямое жилище нежности и **[81]** приятности. Для того Варон с столькою сладостию говорит:

|  |
| --- |
| "Sigilla in mento impressa amoris digitullo Vestigio demonstrat mollitudinem" - |

"Ямки втисненны на бородке пальчиком любви значут нежность"".91

С не меньшим искусством переводит Кантемир и Горация, поэта особенно им ценимого. "Между всеми древними латинскими стихотворцами, - замечает он в "Предисловии", - я чаю Гораций одержит первейшее место. Удачлив в составе речений, искусен в выборе прилагательных, смел в вымыслах, изображает оные с силою и сладостию. В сочинениях его делу слог соответствует, забавен и прост в сатирах и письмах своих, высок и приятен в своих песнях; всегда сочен и так наставлениями, как примерами к исправлению нравов полезен".92 Надо, однако, заметить, что перевод Горация у Кантемира отличается некоторой тяжеловесностью, особенно в сравнении с изящными переводами Анакреонта. Сам Кантемир признает, что во многих местах он предпочитал "переводить Горация слово от слова", предназначая свой перевод не только для обычных читателей, "но и для тех, кои учатся латинскому языку и желают подлинник совершенно выразуметь".93 Возможно, в этом был свой резон, однако, так или иначе, стремление к буквальной передаче подлинника отрицательно сказалось на литературной стороне перевода. Все же не следует недооценивать значение кантемировского перевода Горация: из переводов Кантемира, относящихся к древности, это был единственный, опубликованный еще в XVIII в. Его читали (недаром он выдержал два издания), и он несомненно оказал влияние на последующие русские переводы Горация.94

Кантемир переводил также историков - Корнелия Непота и Юстина. Первый перевод затерялся и так и не найден, второй также долгое время считался утраченным и был обнаружен лишь в конце XIX в.95 Над переводом Юстина Кантемир, по его собственным **[82]** словам, начал работать "в самых молодых своих летех, когда обучался латинскому языку, узнав чрез искус, что к скорому приобретению чужестранного языка лучшей способ есть перевод". В связи с отъездом Кантемира за границу, работа эта затянулась, и окончательно перевод был отделан между 1738 и 1744 г. В предисловии Кантемир, указывая на цель своего труда, замечает, что "число русских книг гораздо еще невелико, и следовательно Иустин, который сокращенно описал многих земель положение и многих народов обычаи и дела от Нина, первого основателя самодержавств, до Августа Кесаря, не может быть неприятен." По крайней мере, замечает он дальше, "мое предприятие может быть подаст искуснейшим повод обогатить народ наш переводами древних списателей греческих и латинских, которые всего лучше могут возбудить в нас охоту к наукам". Достойно сожаления, что кантемировские переводы Корнелия Непота и Юстина, так и не опубликованные, остались совершенно неизвестны русским любителям классической древности.

Как бы то ни было, мы должны отнестись с большим уважением к тому, что было сделано Кантемиром для русского антиковедения. Конечно, и до него в России велась работа по переводу древних авторов, однако только начиная с Кантемира можно говорить о хорошо осознанном выборе, об индивидуальном мастерстве, о глубоком понимании переводчиком целей и методов своей работы. Разумеется, обращение Кантемира к классической древности диктовалось в значительной степени интересами русской литературы, которая в тот начальный период своего развития многим была обязана античности. Однако параллельно много было сделано для дальнейшего распространения в России знаний об античном мире. В частности, кантемировские переводы Анакреонта и Горация открыли собою длинный ряд аналогичных переводов, над которыми трудились многие выдающиеся представители русского классицизма: В. К. Тредиаковский, М. В. Ломоносов, М. М. Херасков, И. Ф. Богданович и др. Само обращение Кантемира к античности было глубоко симптоматичным: его переводы и комментарии свидетельствовали о начавшемся изучении русскими людьми классической древности.

О том же говорит пример другого русского человека - историка **[83]** Василия Никитича Татищева (1686 - 1750 гг.). В начальных главах своей "Истории Российской", повествуя о народах, населявших территорию России в древнейшие времена, Татищев широко использует свидетельства античных авторов - Геродота, Страбона, Плиния Старшего, Клавдия Птолемея, Курция Руфа и др.; выдержки из этих писателей подчас составляют основное содержание глав. Не зная древних языков, Татищев читал античных авторов в современных переводах - главным образом в русских, выполненных для него К. А. Кондратовичем, известным впоследствии академическим переводчиком. Отсюда ясно, что Татищев не мог быть в достаточной степени самостоятельным исследователем в том, что касалось древней Скифии. Однако отсутствие строгого историко-филологического анализа компенсировалось в данном случае полнотою привлеченных свидетельств и их в общем рациональным истолкованием. Разумеется, при этом Татищев многим был обязан Байеру. В "Предъизвесчении", помещенном в начале 2-й (последней) редакции "Истории Российской", он сам говорит о том, какое огромное впечатление произвели на него труды петербургского академика. "Мне, - признается Татищев, - наиболее преученаго профессора Бейера сочинении в Комментариах (Академии наук) многое неизвестное открыли".96 Некоторые из статей Байера Татищев, "сократя", внес в свою "Историю"; здесь они составили главы 16, 17, часть 24 (§§ 6 - 20) и 32. Впрочем, признание ученых заслуг Байера не исключало у Татищева критического отношения к выводам этого "преславного писателя" там, где дело касалось русской истории.97

Возвращаясь к теме Байера, заметим, что помимо Татищева, он оказал сильное влияние еще не одного видного представителя формировавшейся в России в XVIII в. науки истории - на Герхарда-Фридриха Мюллера, или Миллера, как его обычно именуют в русской традиции (1705 - 1783 гг.). Подобно Байеру, Мюллер был выходцем из Германии и, как и он, рано определился на службу в Петербургскую Академию наук (адъюнкт с 1725, профессор истории с 1730 г.). Мюллер составил себе имя трудами именно по русской истории - собиранием и публикацией различных исторических материалов (в том числе и упоминавшейся нами выше "Степенной **[84]** книги", и только что названной "Истории Российской" Татищева), но также и оригинальными работами (знаменитая диссертация "Происхождение народа и имени российского", "Описание Сибирского царства" и др.). Мюллер сам признавал, что в намерении обратиться к эанятиям русской историей, а в этой связи также и к изучению русского языка, он был особенно поддержан и укреплен старшим своим коллегою по Петербургской Академии наук Байером.98 От него же воспринял Мюллер и главные элементы развитой им позднее в своей диссертации норманнской концепции возникновения Русского государства. Но это совсем уже особый сюжет, которого мы здесь касаться не будем. Нам важно было только показать, какое большое воздействие оказал зачинатель историко-филологических занятий в Петербургской Академии наук Байер на дальнейшее развитие русской гуманитарной науки и культуры классицизма.

Деятельность Байера и Кантемира образует исходный пункт в истории русского антиковедения. В этой связи следует заметить, что русская наука об античности начинает свое существование именно со времени основания Петербургской Академии наук: Байер был первым специалистом по классической древности, начавшим работать в Академии практически с момента ее основания; в свою очередь, Кантемир - ученик Байера по Академии - всю жизнь оставался деятельным сотрудником этого учреждения. И в дальнейшем развитие русской науки об античности было связано прежде всего с Академией наук. Лишь с 3-й четверти XVIII в. наряду с Петербургской Академией наук некоторое значение в этом плане начинает приобретать новый центр светской науки и образования - основанный в 1755 г. Московский университет. Вместе с тем мы не должны упускать из виду и то, что свершалось за пределами этих официальных очагов просвещения, а именно многообразную деятельность переводчиков, писателей, художников - всех представителей русского классицизма, которые, исходя из общих литературных и художественных интересов, обращались к античности и таким образом способствовали распространению знаний о классической древности в России. Их деятельность составляет тот культурный фон, без которого нельзя представить себе развитие нашей науки в XVIII в. Поэтому дальнейшее изложение целесообразно будет **[85]** построить вокруг следующих двух вопросов: 1) изучение античности в стенах Петербургской Академии наук и Московского университета и 2) труды русских переводчиков как наиболее важный и интересный пример той просветительной работы, которая совершалась за пределами Академии и Университета.

3. Антиковедные занятия в Петербургской Академии наук и Московском университете во 2-й половине XVIII в.

Кроме Байера, в XVIII в. в Академии наук было еще два специалиста по классической древности - Иоганн-Георг Лоттер (1702 - 1737 гг.) и Христиан Крузиус (1715 - 1767 гг.), оба также выходцы из Германии.99 Лоттер был приглашен на русскую службу еще в 1733 г., в связи с возможной отставкой Байера; предполагалось, что Лоттер станет профессором по кафедре красноречия и греческих и римских древностей, а за Байером останутся восточные древности и языки. Окончательно контракт с Лоттером был заключен в конце 1734 г., и в следующем году он прибыл в Россию. Лоттер был способным филологом, однако отличался склонностью к разгульной жизни. В России он, по словам его академического биографа, "приступил было к составлению жизнеописания царя Алексея Михайловича, которое предполагалось поместить при академическом издании Уложения этого государя", однако вскоре заболел и умер "от истощения сил и неумеренного пристрастия к женскому полу".100 Для русского антиковедения это была во всяком случае мертвая фигура.

Затем в течение некоторого времени в Академии наук подвизался другой немецкий филолог - Крузиус (адъюнкт с 1740 г., "профессор антиквитетов и истории литеральной" с 1746 г., затем, после того как гуманитарный класс был уничтожен в Академии, профессор Академического университета). В России Крузиус занимался составлением (на латинском языке) торжественных од, а также надписей и эмблем для триумфальных арок. Он принимал участие в составлении каталога академической коллекции монет и медалей, где на его долю, вероятно, пришлось описание античных монет. **[86]** Известно еще, что время от времени он выступал перед академическим собранием с докладами на специальные темы; так, в 1740 г. им был прочитан доклад об играх, устроенных Августом в честь победы Цезаря (см.: Suet. Divus Augustus, 10, 1), а в 1745 г., в связи с прохождением на звание профессора, он выступил с рассуждением о первоначальных формах обмена и развитии понятия денег у древних народов (три года спустя это рассуждение было напечатано в Петербурге отдельной книжечкой).101 В Академическом университете, как видно из опубликованной в 1748 г. программы, Крузиус должен был читать лекции по римской истории.102 В общем это был, по-видимому, исполнительный человек, однако его научная деятельность не идет ни в какое сравнение с деятельностью Байера.

Можно сказать, что специальное изучение античной истории, начатое в Петербургской Академии наук Байером, с ним и закончилось: пребывание в Академии Лоттера и Крузиуса прошло в сущности бесследно для русского антиковедения, а случайные обращения к античности других академиков-историков (например, И.-Э. Фишера, который писал о гипербореях, или И.-Ф. Гакмана, трактовавшего о греческих поселениях на Черном море) не меняют в целом безотрадной картины.103 И если тем не менее русское антиковедение продолжало развиваться, то этим оно было обязано не столько немецким специалистам - преемникам Байера, сколько русским филологам В. К. Тредиаковскому и М. В. Ломоносову. Обращение этих первых академиков из русских к античной истории и литературе было продиктовано не столько специальным интересом к античности, сколько заботами о дальнейшем развитии русского языка и литературы; однако, как бы то ни было, их занятия оказались в **[87]** высшей степени плодотворными и для русского антиковедения.

Первый из них, Василий Кириллович Тредиаковский (1703 - 1769 гг.),104 родился в Астрахани, в семье местного священника. Неукротимая тяга к знаниям сначала привела юношу в школу католических монахов, где он, по его собственным словам, обучался "словесным наукам на латинском языке",105 а затем заставила бросить отчий дом и бежать из Астрахани в Москву; здесь, в 1723 г. Тредиаковский поступил в Славяно-греко-латинскую академию, прямо в старший класс риторики. В Московской академии он проучился около двух лет, а затем бежал и оттуда, на этот раз - за границу, чтобы продолжить свое образование "в Европских краях".106 Сам он так позднее рассказывал о своем отъезде за границу: "По окончании риторики (в Московской академии. - Э. Ф.) нашел я способ уехать в Голландию, где обучился французскому языку. Оттуду, шедши пеш за крайнею уже своею бедностию, пришел в Париж, где в университете ... обучался математическим и философским наукам, а богословским там же, в Сорбоне".107 Между прочим в Парижском университете Тредиаковский имел возможность слушать лекции знаменитого тогда профессора Шарля Роллена, труды которого по древней истории он позднее перевел на русский язык. За границей Тредиаковский пробыл около пяти лет - с 1726 по 1730 г. Все эти годы ему жилось очень трудно: никакой правительственной стипендии он не получал, и единственным источником существования для него была помощь знатных покровителей, в особенности жившего тогда в Париже князя А. Б. Куракина.

В Россию Тредиаковский вернулся в 1730 г. Вскоре ему удалось издать первый свой труд - перевод романа французского писателя Поля Тальмана "Езда в остров Любви", к которому он приложил несколько своих оригинальных стихотворений. Книга эта обратила на себя внимание как новизной сюжета, - это был чисто светский, любовный роман, - так и сознательным стремлением переводчика **[88]** избегать "глубокословной словенщизны" и держаться простого русского языка. Имя Тредиаковского становится известным и в Петербурге, и в Москве. Академия наук заказывает ему несколько переводов, а в 1733 г. официально принимает его на свою службу. В контракте, заключенном Академией с Тредиаковским, значились следующие пункты:

"Помянутой Тредиаковский обязуется чинить, по всей своей возможности, все то, в чем состоит интерес ее императорского величества и честь Академии.

Вычищать язык руской пишучи как стихами, так и не стихами.

Давать лекции ежели от него потребовано будет.

Окончить грамматику, которую он начал, и трудиться совокупно с прочиими над дикционарием русским.

Переводить с французского на руской язык все, что ему дается".108

Формально Тредиаковский числился в Академии наук "под титлом секретаря", но фактически, как мы видим, на него были возложены обязанности, которые обычно выполнялись младшими членами Академии - адъюнктами (даже жалование ему было положено такое же, как адъюнктам, - 360 руб. в год). В Академии наук Тредиаковский вместе с молодым адъюнктом В. Е. Адодуровым представлял новую, тогда еще только нарождавшуюся специальность - русскую словесность. В 1745 г. Тредиаковский первым из русских стал академиком - филологом: он был назначен профессором "как латинской, так и российской элоквенции".

Вся многообразная деятельность Тредиаковского - писателя, переводчика и ученого - тесно связана с античностью. Он был в такой же степени филологом-классиком, как и филологом-русистом. И это соединение двух специальностей в лице одного ученого было тогда вполне закономерным: в ту пору, когда русский язык и русская литература находились еще в стадии становления, античность была неизменным источником и образцом, к которому постоянно обращались в своих теоретических изысканиях, на который равнялись в своих практических опытах все русские словесники.

В деятельности Тредиаковского-классика можно выделить следующие три направления: 1) теория прозаического и стихотворного перевода, 2) практические переводы античных авторов и новейших трудов об античности и 3) ученые статьи.

Разработка Тредиаковским принципов прозаического и стихотворного перевода неразрывно связана с общей его работой по "вычищению" русского литературного языка и созданию новой системы **[89]** стихосложения. Подробное изложение этого вопроса слишком увлекло бы нас в сторону; достаточно будет сказать, что Тредиаковский очень широко понимал задачи переводчика: "Переводчик от творца только что именем рознится", - писал он в предисловии к первой своей книге "Езда в остров Любви". Сам он отставил замечательный пример такого широкого подхода к делу перевода: выполненное им переложение романа французского писателя Фенелона "Похождения Телемака, сына Улисса" вошло в состав русской литературы не как обычное переводное сочинение, но как оригинальное творение самого Тредиаковского.109 Прозаический рассказ Фенелона вышел из-под пера Тредиаковского "ироической пиимой", от начала до конца написанной дактило-хореическим гекзаметром; французский роман стал русской "Тилемахидой" - крупнейшим памятником отечественной поэзии XVIII в. В истории русского просвещения "Тилемахиде" Тредиаковского, при всех ее литературных недостатках, принадлежит видное место. Для нас особенно важно отметить ту роль, которую сыграло это произведение в развитии традиций классицизма: оно вводило русских читателей в мир условных образов, заимствованных из арсенала античной мифологии; оно знакомило их с сюжетами, героями и художественными приемами древних эпических поэм; наконец, в нем впервые в рамках большого произведения, был использован гекзаметр. Тем самым был указан путь для будущих переводчиков Гомера и Вергилия. Гекзаметр Тредиаковского -

Древня размера стихом пою отцелюбного сына ...

предвосхищает торжественные, величавые, ставшие каноническими "гомеровские" стихи Гнедича и Жуковского.

Для своих переводов Тредиаковский часто выбирал произведения античных авторов; так, им были переведены 51 басня Эзопа, "Евнух" - комедия особенно им любимого Теренция,110 отрывок из трагедии Сенеки "Фиест" (все стихотворные переводы), а также Горациево послание "К Пизонам" (прозою). Особое значение имели выполненные им по заказу Академии наук переводы исторических трудов современных французских ученых Шарля Роллена и Жана Кревье. Над этими переводами Тредиаковский трудился около 30 лет. В результате были изданы : "Древняя история об египтянах, о карфагенянах, об ассирианах, о вавилонянах, о мидянах, персах, о македонянах и о греках" Роллена (10 томов, СПб., 1749 - 1762), "Римская история от создания Рима до битвы Актийской, т. е. по окончание Республики" Роллена - Кревье (15 томов, СПб., 1761 - 1766) и, наконец, "История о римских императорах с Августа по Константина" Кревье (4 тома, СПб., 1767 - 1769).

Этими переводами Тредиаковский оказал неоценимую услугу русскому просвещению и русской науке об античности. Труды Роллена и Кревье представляли подробное и вместе с тем достаточно популярное изложение древней истории. В центре стояла история независимой Греции и республиканского Рима, драматизированная в духе Плутарха и Тита Ливия; постоянный интерес к судьбам выдающихся государственных деятелей, обстоятельные их жизнеописания и характеристики, наполненные моральными сентенциями, придавали этим сочинениям характер исторических романов и делали их вдвойне занимательными для неподготовленного, но любознательного читателя. В России XVIII века произведения Роллена и Кревье в переводе Тредиаковского были первыми современными пособиями по древней истории. Впрочем, значение этих сочинений не ограничивалось тем, что они служили источником знаний об античном мире; для многих русских людей они были еще "своеобразной школой гражданской добродетели в антично-республиканском духе".111

С переводами исторических трудов Роллена и Кревье тесно связаны и собственные попытки Тредиаковского обратиться к исследованию классической древности. Среди его ученых статей есть две, прямо относящиеся к античности: "Рассуждение о комедии вообще" (1752 г.) и "Об истине сражения у Горациев с Куриациями, бывшего в первые римские времена в Италии" (1755 г.).112 В первой из этих статей, написанной в качестве предисловия к переводу Теренциевого "Евнуха", автор исследует истоки современной комедии, которые он видит в комедии древних греков и римлян. Он рассказывает о происхождении комедии и трагедии у древних греков и затем прослеживает развитие комедии как в Греции, так и в Риме. **[91]** Из всех древних комедиографов он особо выделяет Аристофана, Менандра, Плавта и Теренция, которым и дает подробную характеристику. О характере изложения можно судить хотя бы по такому отрывку, где говорится о происхождении комедии и трагедии у греков: "Первоначалие комедии есть столько же темно и неизвестно, сколько и трагедии. Вероятно, впрочем, что они обе зачались в одной утробе, то есть в забавах, бывших у греков во время собирания винограда. Кажется, что они были сперва некоторые токмо песни, из которых первая, именно ж трагическая, была в честь богу Бакху, а другая (когда вино и радость возбудит сердцаv, по Боаловым словам в "Науке о поэзии", в третьей песне) или в собственную забаву собирающих грозды, или в увеселение там присутствующих. За первую песнь самому искусному певцу воздаянием был козел, который по-гречески называется travgo", от чего, мнится, и трагедия, то есть "козлова песнь". Но за другую награждения не видно, может быть для того, что обе такие песни почитаемы были за нечто одно, и может же быть, что собственная забава поющего была довольною ему мздою и почестию. Такой зачин трагедии и комедии, я полагаю в самом их отдалении, а не в том виде, в какой они после приведены и в каком образе мы их ныне видим."113 Конечно, это не исследование в современном смысле слова; это - популярное изложение, проникнутое наивным рационализмом, столь характерным для писателей эпохи классицизма; однако, самый этот рационализм был зародышем современной науки.

Вторая статья посвящена одному из эпизодов древнейшей римской истории. Автор стремится доказать достоверность предания о битве Горациев с Куриациями, ссылаясь, в частности, на то, что рассказ Ливия - важнейшего источника по данному вопросу - может основываться на свидетельствах древнейшей летописи римских "первосвященников", т. е. понтификов. Статья интересна как своеобразный отклик на начавшийся уже тогда на Западе критический пересмотр древней римской истории. Как и предыдущее "Рассуждение о комедии", статья эта, в сущности говоря, - компиляция, навеянная чтением новейших французских работ, при этом компиляция в такой же степени историческая, как и художественная; центральную часть статьи составляет художественная реконструкция битвы Горациев с Куриациями, выполненная по всем правилам риторической науки.

**[92]** Однако, при всей несамостоятельности, при всех своих несовершенствах, статьи Тредиаковского обладали и некоторыми достоинствами: видно было, что автор сам просмотрел необходимые источники и, отталкиваясь от наблюдений западных ученых, по-своему скомпоновал и аранжировал весь исторический материал. Эти статьи Тредиаковского были едва ли не первыми серьезным работами по древней истории, написанными по-русски русским же человеком. Сам Тредиаковский хорошо сознавал, что его опыты имеют значение лишь зачина; в заключение своей статьи о Горациях и Куриациях он так писал о себе: "благополучен попремногу, что первый сообщаю российским любителям исторической достоверности самую малую часточку римской истории на показание, образчиком сим, в древних римлянах никогда довольно подражаемой добродетели, живой любви их к однородцам, непритворного презрения к собственной пользе и вещественного усердия к отечеству".114

Превосходным знатоком античности был другой русский академик Михаил Васильевич Ломоносов (1711 - 1765 гг.), который также много сделал для развития отечественной науки о классической древности.115 Воспитанник Московской славяно-греко-латинской академии, затем студент Петербургской Академии наук, закончивший свое образование в Германии, Ломоносов по основному профилю своих занятий был ученым-естественником, разрабатывавшим различные фундаментальные и прикладные аспекты физики, химии, геологии и географии. В Петербургской Академии наук он числился именно по физическому классу: адъюнктом по физике с 1742 и профессором химии - с 1745 г. Вместе с тем этот чрезвычайно одаренный, многосторонне развитый и деятельный человек живо интересовался и более общими проблемами русской науки и образования, с чувством большой личной ответственности откликаясь на все те вопросы, которые стремительное развитие новой России ставило перед русской культурой и русской интеллигенцией. **[93]** Он принимал участие в жизни всех подразделений Петербургского научно-учебного центра - собственно Академии, ее Университета и Гимназии; его инициативе и настойчивости обязан своим учреждением новый университет в Москве; наконец, в силу глубокого интереса к путям развития русской духовности и русской национальности, он вникал во все дискуссии, ведшиеся по этому поводу, откликаясь на запросы времени собственными трудами по русской истории и словесности.

С этим связано было также и обращение Ломоносова к наследию греко-римской древности. Великолепно, по-эрудитски образованный, он хорошо знал классические языки и литературу и в своих трудах по русской филологии и истории неизменно исходил из опыта, накопленного античностью. Основополагающие сочинения Ломоносова по теории русского стихосложения и русского литературного языка вообще - "Письмо о правилах российского стихотворства" (1739 г.) и "Краткое руководство к красноречию", более известное под названием "Риторика" (1748 г.), в значительной степени основаны на поэтике и риторике древних, творчески воспринятых и переработанных применительно к особенностям русской речи. В своих практических занятиях литературой Ломоносов также беспрестанно обращался к античным образцам. Так, еще в годы своего ученичества в Германии, в 1738 г., Ломоносов, по примеру немецкого поэта и филолога И.-Х. Готшеда, перевел для опыта нерифмованными стихами одну из анакреонтических од - "К лире".116 В 1739 г., в "Письме о правилах российского стихотворства", он среди других опытных стихотворений дал первые примеры русских гекзаметров и пентаметров, составленных по типу античных.117 Впрочем, в стихотворной практике самого Ломоносова гекзаметр больше не встречается; фактически этот размер был усвоен русской поэзией значительно позднее, благодаря стихотворным переводам Тредиаковского.

Особенно многим обязана античности ломоносовская "Риторика",118 где не только важнейшие теоретические положения, но и множество примеров почерпнуто из античных источников. Надо заметить, что ломоносовская "Риторика" была первым пособием такого рода, написанным на русском языке, а не по латыни, как **[94]** было принято в то время. Это сразу же сделало ее доступной широким кругам русских читателей. Популярности ее способствовали отлично подобранные примеры - отрывки или даже целые произведения в стихах и в прозе, оригинальные или переведенные Ломоносовым специально для этого издания. При этом из греческой и римской литературы заимствовано столько примеров, что они образуют настоящую хрестоматию. Из прозаиков Ломоносов особенно часто цитирует Цицерона, затем Демосфена и Курция Руфа, из поэтов - Вергилия и Овидия. Здесь же даются первые на русском языке стихотворные переводы Гомера (два отрывка из "Илиады" - речь Одиссея [IX, 225 - 261] и речь Зевса [VIII, 1 - 15], переведенные неправильным александрийским стихом).119

Переводы Ломоносова - прекрасные образцы художественной речи. Некоторые из них прочно вошли в золотой фонд русской литературы, как, например, вот этот замечательный перевод из Анакреонта:

|  |  |
| --- | --- |
| Ночною темнотою Покрылись небеса. Все люди для покою Сомкнули уж глаза. Внезапно постучался У двери Купидон; Приятный перервался В начале самом сон. "Кто там стучится смело?" - Со гневом я вскричал. "Согрей обмерзло тело", Сквозь дверь он отвечал. "Чего ты устрашился? Я мальчик, чуть дышу, Я ночью заблудился, Обмок и весь дрожу". Тогда мне жалко стало, Я свечку засветил, Не медливши нимало, К себе его пустил. Увидел, что крилами **[95]** Он машет за спиной, Колчан набит стрелами, Лук стянут тетивой. | Жалея о несчастье, Огонь я разложил И при таком ненастье К камину посадил. Я теплыми руками Холодны руки мял, Я крылья и с кудрями Досуха выжимал. Он чуть лишь ободрился: "Каков-то, молвил, лук, В дожже, чать, повредился". И с словом стрелил вдруг. Тут грудь мою пронзила Преострая стрела И сильно уязвила, Как злобная пчела. Он громко рассмеялся И тотчас заплясал: "Чего ты испугался?" - С насмешкою сказал. - "Мой лук еще годится: И цел и с тетивой; Ты будешь век крушиться Отнынь, хозяин мой". |

Не менее замечателен и другой перевод Ломоносова - из Горация:

|  |
| --- |
| Я знак бессмертия себе воздвигнул Превыше пирамид и крепче меди, Что бурный аквилон сотреть не может, Ни множество веков, ни едка древность. Не вовсе я умру, но смерть оставит Велику часть мою, как жизнь скончаю. Я буду возрастать повсюду славой, Пока великий Рим владеет светом. Где быстрый шумит струями Авфид, Где Давнус царствовал в простом народе, **[96]** Отечество мое молчать не будет, Что мне беззнатный род препятством не был, Чтоб внесть в Италию стихи эольски И первому звенеть алцейской лирой. Взгордися праведной заслугой, муза, И увенчай главу дельфийским лавром. |

Этот перевод открыл собой целый ряд русских переложений горациевского "Памятника"; лучшие русские поэты - Г. Р. Державин, А. С. Пушкин, В. Я. Брюсов - пробовали здесь свои силы вслед за Ломоносовым.

В "Риторике" сосредоточена подавляющая часть "классических" переводов Ломоносова. Однако и после "Риторики" он неоднократно обращался к темам античной литературы. В частности, надо отметить превосходные переводы четырех анакреонтических од, объединенные Ломоносовым вместе с собственными "ответами" Анакреонту в оригинальное произведение - "Разговор с Анакреонтом" (написан между 1758 и 1761 гг.).120 Полушутливая - полусерьезная полемика с Анакреонтом служит для Ломоносова поводом изложить свой взгляд на первостепенные задачи поэзии и противопоставить "певцу любви" свой идеал поэта-гражданина.121

Как в филологических своих изысканиях, так и в работах по русской истории Ломоносов опирался на твердую основу, заложенную античностью. Реконструируя в "Древней Российской истории" (1758 г.)122 далекое прошлое славянских племен, он широко использовал труды античных авторов (в особенности Геродота, Страбона, Плиния Старшего, Клавдия Птолемея, Прокопия Кесарийского), стремясь, в частности, установить историческую преемственность между известными из античных источников восточно-европейскими племенами и будущими славянами. Хотя многие исторические выводы Ломоносова (например, о генетическом ряде: мидяне - сарматы - славяне) представляются теперь наивными и неубедительными, в целом его работы составляют важный этап в развитии отечественной историографии. Одним из первых он обратился к изучению доваряжского периода русской истории, правильно определив, что так называемое "призвание варягов" было лишь эпизодом **[97]** в длительном и сложном процессе образования русского государства; древнейшее прошлое русского народа он попытался связать с судьбами славянских племен вообще, а происхождение и расселение этих последних - с общим ходом мировой истории. В этой связи он (также одним из первых) указал на ту большую роль, которую сыграли славянские племена в гибели одряхлевшего античного мира.

Конечно, в отличие от Байера или даже Тредиаковского Ломоносов не был специалистом-антиковедом. Однако для знакомства русских людей с античностью, для популяризации античного наследия и для последующего развития классической филологии и историографии в России Ломоносов сделал больше, чем кто-либо другой в XVIII в. Он дал русским читателям замечательное руководство по стилистике, все пронизанное нормами античного красноречия; он создал популярнейшее изложение русской истории, исходным пунктом для которого послужил закат античной цивилизации, а первыми источниками - сообщения античных авторов; наконец, он оставил превосходные образцы действительно художественных переводов.

Постоянное обращение Ломоносова к античности объяснялось прежде всего тем. что в ней он видел вечный пример для подражания, образец, которому должны были следовать все, кому дороги судьбы отечественного языка, литературы и истории. Программное сочинение Ломоносова в области русской словесности - "Предисловие о пользе книг церковных в российском языке" (1758 г.) - завершается следующим замечательным признанием: "Счастливы греки и римляне перед всеми древними европейскими народами, ибо хотя их владения разрушились и языки из общенародного употребления вышли, однако из самых развалин, сквозь дым, сквозь звуки в отдаленных веках слышен громкий голос писателей, проповедующих дела своих героев, которых люблением и покровительством ободрены были превозносить их купно с отечеством. Последовавшие поздные потомки, великою древностию и расстоянием мест отделенные, внимают им с таким же движением сердца, как бы их современные одноземцы. Кто о Гекторе и Ахиллесе читает у Гомера без рвения? Возможно ли без гнева слышать Цицеронов гром на Катилину? Возможно ли внимать Горациевой лире, не склонясь духом к Меценату, равно как бы он нынешним наукам был покровитель?"123 Этот панегирик древним **[98]** писателям, произнесенный в назидание современным ревнителям отечественного просвещения, содержит важное указание на непреходящую ценность античного наследия. подсказывая одновременно мысль о необходимости его внимательного изучения.

Помимо Ломоносова, который искал у древних авторов подтверждений для своих историко-литературных теорий, обращались к античности и другие русские академики, чьей специальностью также, собственно говоря, отнюдь не было изучение классической древности. Широкий интерес в обществе к культурному наследию древних греков и римлян, с одной стороны, и нехватка специалистов - переводчиков, с другой, побуждали обращаться к занятию переводами различных людей, знавших греческий или латинский язык, независимо от их узкой специальности. Товарищ Ломоносова по Академии наук, профессор ботаники и натуральной истории С. П. Крашенинников (1713 - 1755 гг.), отлично владевший латинским языком, заново перевел "Историю об Александре Великом" Курция Руфа, снабдив свой перевод многочисленными примечаниями, преимущественно историко-географического содержания.124 Труд Крашенинникова - замечательный пример строго научного отношения к переводу: "он считался совершенным, классическим, он и теперь имеет цену свою, по крайней мере в сравнении с другими переводами латинских авторов".125 Другой русский академик, профессор астрономии Н. И. Попов (1720 - 1782 гг.) издал свой перевод Юстина;126 на русском языке этот автор появился тогда впервые, поскольку прежде выполненный перевод Кантемира затерялся и так и не был напечатан.

Не только академики, но и их ученики занимались переводами античных авторов. Ученик и продолжатель дела Ломоносова Н. Н. Поповский (ок. 1730 - 1760 гг.), позднее ставший профессором философии и красноречия в Московском университете, в бытность свою академическим студентом перевел стихами послание "К Пизонам" и несколько од Горация. Перевод этот удостоился высокой оценки со стороны Ломоносова и был им рекомендован к печати **[99]** (1753 г.).127 Вообще Поповский был талантливым и трудолюбивым переводчиком, однако он отличался исключительной взыскательностью к своим трудам и неохотно соглашался на их публикацию. Есть сведения, что он перевел боvльшую часть "Истории" Тита Ливия и много анакреонтических од, однако за несколько дней до смерти сжег эти переводы вместе с другими своими рукописями.128

Кроме того, переводами античных авторов занимались и специальные, профессиональные переводчики, работавшие при Академии наук. Так, товарищ Ломоносова по Московской славяно-греко-латинской академии, студент, а затем переводчик Академии наук, В. И. Лебедев (1716 - 1771 гг.) перевел Корнелия Непота;129 он же был автором популярной латинской грамматики, выдержавшей 11 изданий.130 Другой академический переводчик и писатель Г. А. Полетика (1725 - 1784 гг.) перевел, впрочем, уже не находясь на службе Академии наук, Эпиктета и Кебета; позднее им был издан перевод "Меморабилий" и "Апологии Сократа" Ксенофонта.131 Наконец, следует упомянуть еще об одном академическом переводчике - И. С. Баркове (1732 - 1768 гг.). Ученик и сотрудник Ломоносова, талантливый поэт, приобретший скандальную славу своими непристойными виршами, Барков перевел стихами сатиры Горация и басни Федра.132 Интерес к Горацию - столпу классической поэтики был завещан Баркову, как и Поповскому, их общим учителем - Ломоносовым.

В заключение мы должны еще раз подчеркнуть решающую роль Академии наук в развитии русского антиковедения: исследовательская работа, сколь бы ограниченно она ни велась, подготовка соответствующих специалистов, наконец, пропаганда, главным образом через переводы, сведений об античном мире - все это на первых порах осуществлялось исключительно силами Академии. Однако, если изучение античности так и осталось на всем протяжении XVIII века преимущественным делом Академии (за ее пределами мы почти не встречаем ученых типа Байера или Тредиаковского), то в **[100]** области обучения, в деле подготовки людей с классическим образованием, у Академии наук уже с середины века появился важный помощник - Московский университет (основан в 1755 г.). На философском факультете этого первого в нашей стране университета в собственном смысле слова предусматривалось чтение курсов красноречия и истории, русской и всеобщей, а также древностей. В основанных тогда же двух московских гимназиях, которые должны были готовить студентов для университета, вся вторая ступень или, как было сказано в Проекте, "вторая школа" (IV - VI годы обучения), отводилась для изучения латыни. По такому же типу вскоре была основана еще одна гимназия - в Казани (в 1758 г.). В ее задачи также входила подготовка студентов для Московского университета.

Разумеется, постановка преподавания в новых учебных заведениях на первых порах была далека от совершенства. Сказывалась нехватка необходимых учебных пособий, неразработанность общей системы преподавания, а главное - отсутствие должного числа собственных, хорошо подготовленных, знающих и добросовестных преподавателей. Последнее старались компенсировать привлечением к преподаванию учителей и профессоров из числа иностранцев, специально приглашаемых из-за границы или же "своих", уже обретавшихся в России; при этом являлось много случайных людей, способных лишь скомпрометировать ту науку, которую они брались преподавать. Так всеобщую историю в новом университете читали Ф.-Г. Дильтей и И.-Г. Рейхель, оба весьма посредственные специалисты, к тому же придерживавшиеся консервативных взглядов на задачи преподавания, активно выступавшие против новых, материалистических идей, которые уже тогда пробивали себе дорогу в науке. К счастью, общий тон в Московском университете задавали не эти приехавшие из-за границы "предприимчивые дилетанты" (выражение С. Л. Пештича), а молодые русские преподаватели - профессора красноречия Н. Н. Поповский и А. А. Барсов (оба воспитанники Академического университета, ученики Ломоносова) и явившиеся несколько позднее магистр философии Д. С. Аничков и профессора права С. Е. Десницкий и И. А. Третьяков (эти были уже воспитанниками Московского университета, причем Десницкий и Третьяков завершили свое образование за границей, в Глазго, где слушали лекции Адама Смита).

Эти профессора представляли в университете передовое, ломоносовское **[101]** направление; Поповский и Барсов вслед за своим учителем горячо выступали против остатков средневековой схоластики, всячески подчеркивая всепобеждающую силу человеческого разума, просвещения и науки, призванных по словам Барсова, рассеять "невежества тьму, в которой мы рождаемся, и истребить те предрассуждения, которые к нам от худого воспитания прилепляются".133 Аничков в своем знаменитом "Рассуждении из натуральной богословии о начале и происшествии натурального богопочитания", опираясь на материалистические традиции Эпикура и Лукреция, развивал мысль об историческом характере религиозных представлений, в основе которых лежат вполне естественные чувства страха, возбуждения и удивления. Наконец, Десницкий и Третьяков в своих курсах по истории права первыми в России ясно указали на важное значение экономических факторов, отношений собственности, которые, по их мнению, о и определяют политическое развитие общества и характер юридических институтов. Мысли, высказанные этими учеными, намного обгоняли свое время; они должны были оказывать сильное воздействие на развитие общественной мысли и университетской гуманитарной науки, прививая, в частности, учащейся молодежи рационалистический взгляд на историю.

В общем Московский университет, при всем несовершенстве преподавания в первые годы его существования, давал неплохие знания своим питомцам. Д. И. Фонвизин (1744 - 1792 гг.), бывший одним из первых студентов университета, вспоминает ряд анекдотических подробностей о том, как обучали в то время, однако, в конце концов, он отдает должное университету. "Как бы то ни было, - заключает он, - я должен с благодарностью вспоминать университет, ибо в нем, обучаясь по латыни, положил основание некоторым моим знаниям. В нем научился я довольно немецкому языку, а паче всего в нем получил я вкус к словесным наукам ... "134

При Московском университете осуществлялась также большая работа по изданию различных учебных пособий, в частности греческих и латинских грамматик и словарей, а также учебных книг по всеобщей истории. Так, в 1769 г. университет издал "Краткую всеобщую историю" Иеронима Фрейера (в переводе и с дополнениями Х. А. Чеботарева); эта книга до конца века оставалась основным **[102]** учебным пособием по университетскому курсу истории.

Таким образом, новые гимназии и университет стали важными очагами просвещения в России. Более того, в связи с тем, что Академический университет после смерти Ломоносова фактически прекратил свое существование, Московский университет стал с конца 60-х годов важнейшим центром по подготовке специалистов с высшим образованием, в частности и по всеобщей истории.135

4. Переводы екатерининского времени

Весьма значительной также была та работа, которая совершалась за пределами Академии наук по переводу античных авторов и современной западно-европейской литературы об античном мире. В этой области, помимо академических профессоров и переводчиков, в XVIII в. трудилось множество людей, главным образом из числа преподавателей светских или духовных учебных заведений, а также священники, писатели, художники, любители литературных занятий из числа образованных чиновников, словом, самые различные представители тогдашней русской интеллигенции. Особенно много переводов было выполнено во 2-й половине XVIII в., при Екатерине II, правительство которой заигрывало с идеями европейского просвещения и поощряло, в определенных рамках, переводческую деятельность. Наиболее значительными предприятиями того времени были переводы двух великих эпических поэтов - Гомера и Вергилия.

Над переводом Гомера в XVIII в. трудилось несколько переводчиков. Первым перевел Гомера К. А. Кондратович (1703 - 1788 гг.), известный переводчик и лексикограф, долгое время состоявший на службе Академии наук (впрочем, к Гомеру он обратился, как кажется, по собственной инициативе, без всякого побуждения со стороны Академии наук). Кондратович в конце 50-х - начале 60-х годов перевел прозою, с латинской версии Иоанна Спондана, обе гомеровские поэмы - "Илиаду" и "Одиссею", однако его труд остался **[103]** неопубликованным и на последующую традицию гомеровских переводов не оказал никакого влияния.136 Кондратович переводил Гомера простым, будничным языком своего времени, широко используя чисто современные слова и выражения, непригодные для передачи героического духа поэм ("фрунт", "ружье", "кавалер", "штиблеты с серебряными пуговицами", "юпка", "государь батюшка" и пр.; особенно забавно выглядит постоянная передача патронимикона русским отечеством: "Юпитер Сатурнович", "Диомед Тидеевич" и даже "Агамемнон Андреевич"!).137

Иную, и в конечном счете более верную стилистическую установку отражает перевод, выполненный несколько позднее Петром Екимовым, скромным чиновником из Новороссии. В 70 - 80-х годах Екимов, по заказу фаворита Екатерины II Г. И. Потемкина, перевел - тоже прозою, но уже с греческого оригинала - обе гомеровские поэмы.138 Язык екимовского перевода - высокоторжественный, книжный, изобилующий архаизмами, "местами чисто евангельский"139 - резко отличается от обыденной речи Кондратовича. Контрастирующие переводы Кондратовича и Екимова, замечает исследователь этих переводов А. Н. Егунов, "непреднамеренно определили два противоположных подхода к переводимому ими поэту: Гомера следует переводить самым обычным, современным языком и тем приблизить его к читателю или же, напротив, не боясь отпугнуть читателя, дать ему понять необычным, странным языком перевода, что перед ним нечто необычное и величественное, т. е. изъять читателя из сферы обыденности и постараться приблизить его к Гомеру. Иначе говоря, сделать Гомера современником читателя или, наоборот, читателя - современником Гомера".140

В конце концов возобладала вторая тенденция, наиболее удачно воплотившаяся в переводе Н. И. Гнедича. Однако между Екимовым и Гнедичем стоит еще один переводчик Гомера - Е. И. Костров **[104]** (1750 - 1796 гг.), чей стихотворный перевод явился важным связующим звеном между архаической прозой Екимова и высокой поэзией Гнедича. Воспитанник Московской славяно-греко-латинской академии и Московского университета, где он получил степень бакалавра, Костров был талантливым поэтом и плодовитым переводчиком; в частности, из древней литературы он, кроме Гомера, перевел еще "Превращения" ("Золотого осла") Апулея (2 части, М., 1780 - 1781). В 1787 г. он выпустил в свет перевод первых шести песен "Илиады", переведенных им непосредственно с греческого александрийскими стихами